

Сергей Кузнецов

**Серенький
волчок**



Издательские
решения

Девяностые: сказка

Сергей Кузнецов
Серенький волчок

«Издательские решения»

2004

Кузнецов С. Ю.

Серенький волчок / С. Ю. Кузнецов — «Издательские решения», 2004 — (Девяностые: сказка)

Знаменитый испанец Артуро Перес-Реверте благословил Сергея Кузнецова на писательские подвиги и не ошибся: романы Кузнецова – образец увлекательной интеллектуальной литературы, где комизм переплетается с трагизмом, а напряженная интрига и динамичный сюжет соседствуют с чистой лирикой....Эти люди считали себя яппи. Они были уверены, что с ними ничего не может случиться. Они ужинали в лучших ресторанах, и пили кофе в редких московских кофейнях. Москва, август 1998-го, экономический кризис. Таинственное убийство. Российский бизнес, гламур, островок благополучия посреди голодной страны. Утешают разве что детские сказки и умение говорить «все отлично», даже когда все очень плохо. Благополучную жизнь этих людей уничтожил даже не кризис 1998 года – она взорвалась изнутри под давлением страстей, отчаяния и любви. «Серенький волчок» – детективный роман о любви и о том, как в Москве закончились девяностые годы, заключительная часть трилогии Сергея Кузнецова «Девяностые: сказка».

© Кузнецов С. Ю., 2004

© Издательские решения, 2004

Содержание

Предисловие	6
1	7
2	11
3	15
4	20
5	22
6	26
Серый Волк и Лисичка-сестричка. Май, 1998 год.	29
7	33
8	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Сергей Кузнецов

Серенький волчок

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

*придет серенький волчок
и укусит за бочок
он утащит во лесок
под ракитовый кусток*

Когда нет истинной бараки, жажда человека к ней настолько велика, что его эмоциональность приписывает качество бараки своим надеждам и страхам. Так, испытывая горечь, печаль, сильные эмоции, он называет это баракой.

Шейх Шамсаддин Ахмад Сиваси

Описанные в романе события вымышлены, хотя иногда здесь рассказаны истории, в разное время происходившие со мною, а также с другими людьми, знакомыми и незнакомыми. Тем не менее, сходство или совпадение имен, фамилий и фактов биографий случайно и не должно считаться указанием на того или иного реального человека. Надеюсь, заинтересованные лица не будут в обиде за некоторые вольности в обращении с реальными событиями. Пусть все эти люди не забывают, что я их очень люблю.

Я считаю своим радостным долгом поблагодарить мою жену Екатерину Кадиеву – моего первого читателя и редактора. Без нее эта книга никогда не была бы написана. Также я рад выразить свою благодарность Настике Грызуновой за блестящую редактуру, которая сделала этот текст намного лучше. Я также благодарен Ирине Бирюковой, Анатолию «avva» Воробью, Марии Вуль, Александру Гаврилову, Линор Горалик, Татьяне Игнатовой, Демьяну Кудрявцеву, Максиму Кузнецову, Александру Милованову, Ксении Рождественской, Наде Уклеиной, Максиму Чайко, Жене Чечеткину, Саше Шерману и всем тем, кто поддерживал меня в девяностые и другие годы.

1

– Как бы там ни было, – говорит Юлик Горский, – надо стараться получать удовольствие от жизни.

Черные с серебряным шитьем подушки на истертом ковре, вместо узора – арабская вязь: может быть – молитва, может – бессмысленные слова, розыгрыш для счастливых обладателей ладанок со святой землей, которую можно наковырять прямо у обочины, для доверчивых туристов, покупающих флаконы со святой водой, крестики из оливкового дерева, куфии типа «арафатка», пузатые, червленого серебра, кальяны, вроде этого, украшенного стекляшками, из которого только что сделал затяжку Юлик Горский. Сделал – и перевел глаза на беленые стены, на картинки без рам – цветные пятна, радужные разводы, словно нефтяная пленка спиралями по воде, словно воспоминание о почти забытом, словно дым яблочного табака, тающий в кондиционированном воздухе, словно эхо слов «У меня больше не осталось Родины», сказанных Женей десять минут назад. Женя сидит тут же, подвернув под себя ноги, аккуратно держа в толстых коротких пальцах мундштук, делая затяжку и чуть приоткрытым ртом выпуская дым, пахнувший яблоками и розами.

– Ни в коем случае не следует пользоваться таблетками, – говорит Женя, – этой мерзостью, которая воняет селитрой и продается в арабских лавках. Надо брать древесный уголь, лучше всего – от розовых кустов. По правилам надо, конечно, делать самому, но на худой конец можно и купить. Таблетки – это вообще никуда. От них першит в горле и селитра забивает весь аромат. А табак в самом деле можно использовать двойной яблочный, это ничего, что он в тех же лавках продается.

Горский сделал затяжку, прислушался к бульканью в темном узорчатом сосуде и сказал:

– Откуда ты все это знаешь?

– У меня был знакомый ливанец, – объяснил Женя. – Я однажды хотел его угостить, разжег кальян, а он посмотрел грустно и говорит: «Женя, представь, ты пришел в гости, тебе говорят „хочешь выпить водки?“ – и выставляют стакан мутной жидкости, которая пахнет ослиной мочой. И сейчас я чувствую то же самое».

Горский засмеялся.

– В Калифорнии тоже все уверены, что русские пьют водку. Не было еще американца, который бы меня не спросил, правда ли, что русский может в одиночку выпить бутылку.

– В этом климате совсем не тянет, – сказал Женя.

Горский кивнул.

– Это точно.

Израильский климат не нравился ему. Три года Горский прожил в окрестностях Сан-Франциско, куда понемногу стягивались русские программисты, оказавшиеся в Америке в первой половине девяностых. За это время Горский привык к мягкой, хотя и переменчивой погоде: сам город напоминал Петербург, в котором отменили зиму, но зато растянули осень и весну на весь год, а на берегу океана и в жару дул ветер, так что даже самой жаркой – истинно калифорнийской – летней порой легко было спастись от духоты – если, конечно, в компании таких же искателей прохлады не застрять наглухо в пробке. Здесь, в Израиле, Горскому казалось, что от жары не убежать: даже под кондиционером не хватало кислорода. Странно было слушать Женины рассказы о том, как в первые годы после приезда он был дорожным рабочим, весь день на палящем солнце – и ничего. А теперь – офис, квартира, машина, всюду кондишн, о том, чтобы пройтись по улице, страшно и подумать, особенно когда дует хамсин.

– Хамсин – это по-арабски «пятьдесят», – объяснял Женя. – Ветер с пустыни, пятьдесят дней в году. Но не подряд, так что жить можно.

Неудивительно, что в этом климате евреи понемногу перенимали арабский образ жизни: медлительность, горячий кофе со стаканом ледяной воды, тягучая музыка, пита, хуммус, фалафель, кальян. И что воюют, думал Горский, ведь по сути же – один народ. Уверен, когда праотец Авраам ездил здесь на верблюде, на нем был не лапсердак и пейсы, а заштопанный халат и какая-нибудь тряпка на голове, вроде тюрбана. Вот у Жени на полке «Путь суфиев» Идрис Шаха стоит рядом с «Хасидскими притчами», а младшая сестра учится танцу живота. Глядишь, еще немного – и все перемешаются, как в Калифорнии, заживут счастливо и мирно. Женька говорит, что арабские рынки – самые дешевые, арабы – прекрасные строители и разнорабочие, все довольны, даже политики в Осло вроде обо всем договорились. В 2000 году палестинцы получают наконец свое государство, всё успокоится.

Но государство у них будет только через два года. А пока, в августе 1998-ого, Юлик и Женька беседуют о своей утраченной стране, потому что Горский решился, наконец, слетать в Москву. Он предвкушал встречу с Антоном или Никитой, экскурсию по местам былой славы, косячок по старой памяти, московские достопримечательности. Три года – большой срок. Горский помнил, что в начале девяностых город не держал форму и менялся на глазах. Выйдешь из дома – а на месте ларька только дыра в асфальте, а там, где вчера продавали воду, нынче продают вино.

– Даже не верится – говорил Женья. – Я в Москве был один раз, в 1983-м, когда поступать в МГУ пытался. Провалился, конечно, и вернулся в Харьков, но впечатление, помню, было сильное. Для меня Москва всегда будет столица нашей Родины.

– Не Киев? – спросил Горский.

– Какой Киев? – возмутился Женья. – Украина мне не Родина, нет для меня такой страны. Я родился в Советском Союзе и из Советского Союза уехал в 1990 году. Я его никогда особо не любил, но другой Родины у меня нет – если, конечно, не считать вот этой, исторической. Я, может, потому и уехал – почувствовал, что Родины у меня больше не будет: год-два – и все.

– Ты говоришь странные вещи, – сказал Горский. – Москва – столица, пускай, но почему Родины-то больше нет? Вот представь, у тебя есть родители, а потом они развелись, пусть даже взяли себе новые имена, ну, крестились, скажем, или наоборот, приняли этот ваш иудаизм. Зовут их по-другому, живут они по отдельности, но все равно – странно говорить, что у тебя больше нет родителей.

– Это сложный вопрос, – сказал Женья. – При таком раскладе у меня, конечно, есть мама и папа, но не факт, что есть родители.

– И впрямь сложный вопрос, – сказал Горский, – но, мне кажется, он скорее лингвистического порядка. Проблема имен. Я когда-то читал об этом. Где тот инвариант, который сохраняется при всех изменениях? Типа, сколько признаков надо сменить у объекта, чтобы он перестал быть «собой». Как мы вообще определяем тот или иной объект, если не через совокупность его свойств? А если свойства меняются – то как быть? Вот кошка – это животное с хвостом, четырьмя лапами и шерстью. Но есть бесхвостые кошки и кошки без шерсти. Если такой кошке отрежет лапу – она останется кошкой?

– Знаешь, ей не будет дела до того, осталась ли она кошкой. Ей будет просто больно.

Горский задумался.

– Ты прав, – сказал он после паузы. – Кошке будет просто больно. Это и есть травма. Я имею в виду – когда мы все время вынуждены искать ответ на вопрос «что случилось, куда все подевалось?». Мама с папой развелись – где мои родители? Моя страна распалась – где моя Родина? Где моя лапа, если говорить о кошке.

– Если уж мы так серьезно, – сказал Женья, – я бы мог сказать, что моя Родина – везде и нигде. Небесный Иерусалим и небесный Советский Союз.

– Это выход в трансценденцию, – сказал Горский. – Известный способ преодоления травмы. Особенно распространенный в России, Калифорнии и Израиле.

Самое обидное, что Горский уже понимал: на этот раз он так и не доедет до Москвы. Планируя путешествие, он решил, что, раз уж летит через океан, по дороге на недельку заглянет в Израиль. Давно хотелось посмотреть страну, тем более появился виртуальный друг – Женя Коган, программист из Хайфы, с которым они познакомились в гостевой «Русского журнала». Около года переписывались, обсуждая литературу, политику и сетевые сплетни – и когда Горский сообщил, что собирается в Москву, Женя предложил остановиться в Израиле и неделю пожить у него.

Неделя грозила обернуться месяцем – как раз сегодня, когда Горский поехал на экскурсию в Иерусалим, в Старом Городе у него сорвали с плеча сумку, где почти ничего не было, если не считать советского паспорта с американской визой Н1. Кредитные карточки, деньги, даже распечатанный на принтере листок с телефонами и адресами лежали в бумажнике, который Горский по привычке сунул в задний карман джинсов. Этот рефлексивный жест – расплатиться и убрать бумажник в карман – избавил Горского от множества хлопот, но, к сожалению, не от всех. Надо было делать новый паспорт в российском консульстве, а потом восстановить визу в американском посольстве. Ясно, что о Москве придется забыть.

Не пройдет и недели, как Горский поймет: потеря паспорта не была случайностью. Он не мог оказаться в Москве, – он никогда не появлялся там, где что-то происходило. Так была устроена его жизнь: подобно Ниро Вульфу, он был обречен разгадывать все загадки, так и не увидев места преступления.

В дверь позвонили, и Женя пошел открывать. Горский уже сидел за компьютером и отправлял мэйл Глебу Аникееву, московскому приятелю, которого не видел ни разу в жизни. Два года назад Горский помог Глебу разгадать одну загадку, и хотя воспоминание об этом деле не доставляло особого удовольствия, Юлик собирался повидаться с Глебом в Москве. Теперь Горский писал, что, увы, приезд отменяется, будем надеяться – не навсегда.

Нажав на «Send», Горский услышал за спиной глубокий и мягкий голос с едва различимым южным – не то украинским, не то еврейским – акцентом, голос, на который за семь лет наложилась характерная ивритская интонация. Медленно, не веря себе, он развернулся на крутящемся кресле – и увидел Машу Манейлис.

Они познакомились в Крыму летом 1991 года, последним советским летом: Маша приехала поездом из Харькова, Горский – стопом из Москвы. Днем они пили дешевую «Массандру» и нагишом купались в море, ночью пытались сварить молоко из безмазовой харьковской травы и занимались любовью в душной брезентовой палатке. В сентябре Машины родные уезжали в Израиль, и она приехала в Крым попрощаться с Черным морем. Перед тем как посадить ее в ялтинский автобус, Горский нацарапал на пачке «Беломора» адрес, но ни одного письма так и не получил. Возможно, думал Горский, Маша давно забыла эту историю – немного грустный символ прощания со страной и временем, которых никогда больше не будет. А может, она просто потеряла картонку или забыла ее в Харькове.

Однажды, уже в Америке, Горский подумал, что можно попробовать разыскать Машу с помощью специальных интернет-служб. Однако поиск на «Masha Maneylis», «Maria Maneilis» и даже «Mary Maneilis» ничего не дал: не то Машин адрес не был зарегистрирован в «Yellow Pages», не то она вышла замуж и сменила фамилию, став какой-нибудь Машей Кац или Мэри Джонс.

Горский думал, что Маша так и останется для него еще одним тускнеющим воспоминанием. Когда-то каждый месяц был наполнен событиями, но в климате Силиконовой долины не замечалась даже сама смена времен года. Если бы не разговоры о приближающемся миллениуме, Горский вовсе потерял бы счет годам, но с другой стороны, как ни нумеруй настоящее, прошлое и будущее, воспоминания все больше покрывались серебристым налетом, паутиной, сотканной из рассеянности и забвения.

Из своего психоделического опыта Горский знал: времени не существует. Сейчас, увидев Машу, он снова это почувствовал. Он различал морщины, которых не было семь лет назад, и несколько седых волосков в беспорядочных черных спиралях волос – но Маша сразу совпала с той Машей, которую он любил когда-то на черноморском берегу распавшейся страны. Та же плавность движений, та же улыбка, та же мягкость интонации, сглаживающей изумление:

– Юлик? Ты?

Они как будто продолжили с того места, где прервались на Коктебельской автобусной остановке – но в этом продолжении было все, что случилось с ними за эти годы: инвалидность, психоделия, эсид хаус, поездка в Америку, удачная операция и работа в Силиконовой долине. Машина эмиграция, жизнь в караване, долгий роман с Мариком, беспорядочные работы и картинки, которые она рисовала, чтобы продавать туристам и разносить по богатым домам.

– Как здорово, – сказала она, – что я зашла сегодня к Женьке. Я в четверг улетаю.

– Куда?

– В Москву.

– А зачем?

– Просто так. Приятель зовет, Сережа Волков, я его когда-то встречала в Крыму, а вот сейчас столкнулись в Праге.

– А чем он в Москве занимается? – спросил Горский.

– Не знаю толком. Что-то со страховкой связанное.

– Новый русский? – удивился Горский.

– Нет, – ответила Маша, – они называют себя «яппи».

2

Денис Майбах, иногда тоже называвший себя «яппи», лежал в теплой ванне и читал журнал «Вечерняя Москва». Самая обычная ванна, без модных наворотов, так что пузырьки, скользившие вдоль спины, просто поднимались от брошенного на дно душа. Они приятно щекотали кожу, и Майбах думал о том, что это и есть настоящее удовольствие, символ благополучной, без излишеств, жизни.

Однажды, года три назад, он заглянул к старому школьному товарищу, круто поднявшемуся не то на ваучерах, не то на каких-то пирамидах типа «МММ». Полученными деньгами приятель распорядился странно: купил смежную трешку с двушкой в спальном районе Москвы и, потратив еще столько же, сделал в них евроремонт. За свои деньги он посадил консьержа в подъезд, но тот все равно не мог проконтролировать, что творится в лифтах, – и потому временами, выходя из своих хором, старина Виктор брезгливо перепрыгивал мутную лужицу на ободранном полу кабинки. В квартире все, впрочем, было как у людей: белые стены, золоченые (золотые?) дверные ручки, итальянская мебель в комнатах и шкафы-купе в коридоре. Половину ванны занимала джакузи и Виктор уговорил Дениса опробовать новинку. Гордо показывая разные режимы булька, Виктор продемонстрировал жидкокристаллический экранчик и спросил, знает ли Денис итальянский. Распластанный и разморенный Майбах покачал головой, и Виктор объяснил, что, когда заканчиваешь мыться и спускаешь воду, на экране появится вопрос, на который ни в коем случае не надо отвечать Si, а надо отвечать No, потому что это вопрос о том, следует ли проводить дезинфекцию.

– Почему же не следует? – спросил Денис, прикидывая, хорошо ли, что Виктор не дезинфицирует ванну, куда приглашает всех гостей без разбора.

– Потому что тогда вот из этой дырочки бьет струйка хлорки или еще какой-то моющей хрени. А итальянцы считают, что никто не будет лежать в пустой ванне. И, значит, бьет она тебе прямо в глаз. Я едва увернулся.

Через год Виктор пропал с Денисова горизонта – видать, в какой-то момент не угадал правильный ответ или не успел увернуться. Воронка десятилетия засосала его вместе со множеством других пузырьков, когда-то с радостным бульком поднимавшихся к поверхности. Кого застрелили, кто сбежал за границу, кто подсел на второй номер, кто просто сгинул. А вот Денис лежит в ванной и чувствует ток воды вдоль ребер, запах ароматических солей, смешанный с вонью московской хлорки, глядит сквозь паркий воздух на страницу «Вечерней Москвы». Заслуженный покой, едва слышное из комнаты пение Лагутенко, спокойствие и надежность, полуприкрытые глаза, безопасность и комфорт. Хорошая работа, разумная зарплата, недавно отремонтированная квартира. Эргономичная жизнь.

Мобильный на компактной стиральной машине взорвался мультяшной мелодией. Денис перегнулся через край, сам себе напоминая Марата с известной картины, взял «нокию» и сказал «алле».

– Привет, это Иван, – сказала трубка. – Что подельываешь?

– Лежу в ванне, – ответил Денис, соскальзывая обратно в остывающую зеленоватую воду.

– Скажи, где находится это грузинское место, которое ты мне хвалил?

– «Мама Зоя»? Где-то в районе «Кропоткинской», – сказал Денис. – А что?

– Я тут уже полчаса кружу, никак не могу найти. Давай я заеду за тобой, ты мне покажешь и поужинаешь заодно с нами?

– Да мне неохота из дома, я же мокрый весь...

– Ничего, я через полчаса буду... как раз обсохнешь.

Выключив телефон, Денис вздохнул и выдернул затычку. Маленький смерч уходил в черную дыру водостока у него за спиной. Денис подумал, что главная проблема с комфортом – трудно решиться на что-то, когда любой выбор равно приятен.

Иван Билибинов был одет в легкий светло-серый костюм от «Calvin Klein», на ногах туфли «Lloyds», привезенные в прошлом году из Лондона. Его спутница, волоокая девушка Лена в светло-коричневом сарафане «Benetton», молча сидела напротив Билибинова и за весь вечер произнесла, кажется, только несколько слов, делая заказ – лобио, сациви, «Святой источник». Голос был мягок и мелодичен, как у всех Ивановых подруг, и Денис порадовался за приятеля, который умел выбирать себе девушек с нежным румянцем на щеках, скромно опущенными ресницами и длинными пальцами профессиональных пианисток. С такими бедными овечками и надо ходить в «Маму Зою»: сам Денис не мог без дрожи вспоминать вечер, когда зашел сюда поужинать вместе с Алей Исаченко из отдела медицинского страхования. Она попросила принести «Marlboro Light», официант сказал, что девушкам не надо курить, потому что они – будущие матери, Аля ледяным голосом потребовала менеджера, официант сказал, чтобы она не смела так с ним разговаривать, Денис попросил принести «Marlboro» лично ему – короче, получился безобразный скандал. За это Денис и не любил патриархальные места с их домашней кухней и материнской заботой хозяев. Лучше уж американский конвейер «TGI Friday».

С Иваном они заказали чихиртму, аджапсандали, шашлык и бутылку «Алазанской долины». Грузинские вина совсем испортились за годы войн и жульничества, но хотелось верить, что поддельная «Хванчкара» осталась в прошлом, как и разведенный спирт «Ройяль». Может, в киоске у метро по-прежнему торговали леваком, но Денис верил, что хотя бы в «Маме Зое» вино настоящее.

Немного поговорили о запутанной географии Москвы, где даже человек, проживший в городе всю жизнь, не может найти ресторан, о котором столько слышал, потом обсудили автомобильные пробки и пришли к выводу, что все должно улучшиться, потому что хуже быть уже не может: центр забит, по кольцу ползешь со скоростью километров 20 в час. Волоокая Лена молча ела сациви, подливая себе воды в высокий стакан.

Иван повертел в руках бутылку.

– Оказывается, покупая «Святой источник», мы поддерживаем Русскую Православную Церковь.

– Это правильно, – сказал Денис, – они много делают для страны. Взять хотя бы Храм Христа Спасителя: кому еще по плечу такая громадина?

– А по-моему – уродство, – сказал Билибинов.

– Ну нет, – не согласился Денис, – прекрасная вещь. Высокотехнологичная. Вот ты видел там металлические скульптуры церетелевские? Думаешь, хоть кто-то может принять это за бронзу? Гальванопластика – и все дела. Это как второй терминатор в «Терминаторе 2».

– Что такое «второй терминатор в терминаторе два»?

– Ну, этот... который из жидкого металла и может принимать любую форму. Вот так и новый Храм: реплика старого, только жидкокристаллическая. По-моему, очень круто.

– Не понимаю я тебя, – сказал Иван. – Вот вино... ты же не хочешь пить поддельную «Долину», а хочешь настоящую? Или одежда – ты же не покупаешь себе турецкие тряпки на рынке, а идешь в галерею «Актер» или в «Bosco»?

– Правильно, – кивнул Денис, – а ты скажи, когда ты последний раз был в Храме?

– На Пасху ходил в Храм Николы в Хамовниках – ну, где крестился в свое время. Я не особо часто хожу. Грех, конечно, но...

– Я так вообще не крещеный, но речь не о том. Просто Храм Христа Спасителя построен не для нас, а для народа. Для тех, кто покупает турецкие вещи и пьет спирт «Ройяль» из ларька.

– «Ройяль» давно не продают, – сказал Иван.

– Ну, откуда мне знать, что там у них продают? Я же этого все равно не пью. Может, и на рынке давно не турецкие вещи, а, скажем, китайские или там вьетнамские? Ты откуда знаешь?

Зазвонил мобильный, Иван сказал «Привет» и откинулся на спинку стула, показывая, что у него важный разговор. Пока он говорил, Денис смотрел на молчаливую девушку и пытался представить себе, как Билибинов занимается с нею сексом. Получалось что-то замедленно-тягучее, словно в тележурнале «Playboy», который когда-то показывали поздними вечерами в пятницу. Иван рассказывал Денису, что Лена работает менеджером в российском представительстве какой-то южно-корейской фирмы и завтра улетает на полгода в Сеул на стажировку. Интересно, будет ли он по ней тосковать или заведет себе другую – такую же молчаливую и хорошенькую?

– Что значит «компактно упаковал»? – переспросил Иван и после долгой паузы вздохнул: – Какой рейс?

Повесив трубку, сказал Денису:

– Ну вот, завтра придется тащиться в Домодедово, встречать эту еврейскую козу.

– Кого? – удивился Майбах.

– Машу из Праги, то есть из Израиля, – сказал Иван. – Меня Волков познакомил с ней в мае, помнишь, я говорил.

– А чего сам Волков не встречает?

– Ему утром срочно надо в офис.

Денис хотел спросить, что же означала фраза «компактно упаковал», но подумал, что это совсем не его дело – и промолчал.

Год назад, когда Денис впервые зашел в «Маму Зою», обед на троих стоил тысяч триста с хвостом. С тех пор цены повысились, но три нуля исчезли, так что за ужин он заплатил рублей сто пятьдесят вместе с чаевыми. Зато частник, на котором он добирался до дома, заблудился, и Денис раздраженно вышел, кинул водиле полсотни и решил дойти пешком – тем более, что в машине противно воняло бензином. Уже в который раз Денис подумал, что надо бы, как белые люди, завести в сотовом номер какой-нибудь новой компании такси, чтобы вызвать проверенную машину, а не ловить черт-те что.

Дорога шла вдоль старых трамвайных путей. Смеркалось, на улице не было ни души, и Денис подумал, что еще лет пять назад он бы сильно стремался гопников, которые надавали бы по хитрой рыжей морде и отобрали все деньги. Какие, впрочем, у него тогда были деньги? Смешно сказать. Однако сейчас он почему-то не чувствовал никакого страха. Может быть, подумал Денис, начиная с какой-то суммы в бумажнике вообще перестаешь бояться? Словно ты от всего застрахован.

Денису нравилась его работа. В страховании ему виделся какой-то символ новой эпохи. Со времен перестройки люди привыкли к тому, что государство отказалось от них: мол, выплывайте сами. Для Дениса главное в идее страхования была даже не компенсация за болезнь или аварию – нет, выплачивая взносы, человек прямо в офисе покупал спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то, чего так не хватало последние десять лет. Деньги оказывались страховочной сеткой, способной если не предохранить от беды, то смягчить падение. И потому Денис считал, что он не просто зарабатывает деньги в страховой конторе «Наш дом», а дарит людям твердую почву под ногами – взамен хлипких досок государственного корабля, давшего течь и вот-вот грозившего пойти ко дну.

Денис давно уже не был в этой части микрорайона: обычно доезжал прямо до подъезда и теперь удивлялся, что все вокруг выглядело каким-то запущенным, пыльным и грязным. Провинциальный пейзаж; ландшафт, где он сам, в своих габардиновых джинсах «Diesel» и футболке «GAS», казался неуместным, будто рекламный щит посреди пустыни. Здесь не было ни перестройки, ни девяностых, и потому тускло поблескивающие трамвайные пути вдоль

облупившейся мутно-красной стены казались тропой в затерянном мире. Удивительный город, думал Денис, другого такого нет. Если присмотреться, за любым фасадом, прозрачным как голограмма, увидишь прошлое, чуть припорошенное бурой пылью. Время будто остановилось здесь – заблудившимся трамваем, потерянным на запасных путях.

За спиной Дениса раздался грохот: Майбах обернулся. Реальный, а не метафорический трамвай приближался к нему. Отскочив, он пропустил лязгающую махину. В ярко освещенном салоне было почти пусто: Денис увидел только парня с девушкой, взасос целующихся на задней площадке. Парень стоял, прислонившись спиной к окну, и Денис хорошо видел буквы «Adidas» на его линялой футболке. Свободной рукой парень держал бутылку «Балтики», и при каждом толчке вагона пиво выплескивалось ему на руку и капало на пол. Денису показалось, что в ноздри ударил запах перебродивших дрожжей, смешанный с запахом пота и застоявшейся трамвайной пыли.

«Зато поддерживают отечественного производителя», – подумал он.

3

Перед отъездом мама позвонила Маше Манейлис и зачитала статью из местной русскоязычной газеты. Автор, недавно побывавший в Москве, рассказывал, что в этом городе нет ни порядка, ни закона. С пафосом он рассуждал о том, почему израильская полиция работает лучше, чем московская милиция: мол, если сегодня брать взятку за то, что человек ездит на машине без прав, завтра палестинские террористы подорвут всю страну. Не то автор призывал израильтян сказать спасибо младшим семитским братьям за порядок и закон в земле обетованной, не то удивлялся, почему чеченцы в Москве еще не взрывают пассажирские автобусы.

Вполуха слушая хорошо интонированный мамин голос, Маша собирала вещи. О том, что статья закончилась, она догадалась по тону: назидательно бубнящая мелодия сменилась вопросительно агрессивной.

– Ну? – спросила мама, – И туда ты собираешься ехать? Тебя же там убьют.

– С чего бы это? – спросила Маша.

– Там всех убивают, я же тебе прочитала только что!

Маша вздохнула.

Все это время Горский сидел в кресле и смотрел, как Маша запихивает в сумку и чемодан вещи. Плечом она смешно прижимала к уху трубку, отчего силуэт приобретал кокетливую несимметричность. С возрастом Машины движения стали более плавными, былая порывистость исчезла, но она все так же откидывала волосы назад и теребила в руках то очки, то ручку, то мобильный телефон.

Четыре дня они почти все время провели вместе – если не считать визитов Горского в консульство и посольство. Маша рассказывала, что прожила три года с Мариком, программистом из Ленинграда, познакомились уже здесь, в Израиле, а сейчас она снимает квартиру одна, дороговато, но зато район приятный, несколько раз ездила в Европу, кто бы мог подумать лет десять назад, что будет так просто – купила билет и полетела, ни визы, ни разрешения, ничего. До Америки вот еще не добралась, уж теперь, конечно, обязательно в гости, но что Америка! Даже в Москву первый раз еду, Сережа очень уговаривал, нет, что ты, какой роман, просто я не люблю как туристка, лучше когда в гости к кому-нибудь, чтобы показали город по-настоящему.

Показать по-настоящему Хайфу Маша не успевала – нужно доделать все дела, заплатить вперед за квартиру, хотя и обидно, три недели меня здесь не будет, хочешь, сдам тебе? Нет, что ты, я шучу, Женька обидится, он с тех пор как развелся, совсем звереет от одиночества, он так рад, что ты приехал, даже злится, что я тебя у него украла.

Ужинали в небольшом ресторане на набережной, со Средиземного дул прохладный ветерок, жара спала, пили «Маккаби» и вспоминали, как семь лет назад, в августе сидели на берегу другого моря, смотрели на лунную дорожку и гадали, что их ждет, хотя уже знали, что никакого «их» в будущем не будет, Горский вернется в Москву, а Маша через неделю улетит в Тель-Авив.

– А видишь, – смеялась Маша, – мы все равно встретились, хоть и ненадолго.

И вот теперь она катила тележку к чек-ину, который в России, наверное, до сих пор называют длинным словом «регистрация». В России, думал Горский, так привыкаешь к тому, что если можно переделать английское слово, то никто не придумывает русское – не говорить же «олень» вместо «бакс», – что в Израиле не перестаешь удивляться способности местных жителей бесконечно кроить новые слова из старого языка. «Ниагара» вместо «бачок унитаза», «мазган» вместо «кондишн». Каждый раз когда слышу это слово, представляю себе даже не какой-нибудь супер-умный кондиционер, smart air condition, а такого бугая, сам себя шире – но бугай

не в физическом, а в интеллектуальном смысле. Не просто умный – настоящий мазган. Вундеркинд, математический гений. Мой братан большой мозган.

После нескольких лет английского иврит казался Горскому искусственным – впрочем, как и вся эта страна, в буквальном смысле живущая под капельницей: едва ли не под каждой травинкой на газоне виднелась маленькая трубочка с пресной водой, местная система орошения. Искусственный язык, искусственная природа – и при этом вполне живые люди, может быть, живее даже, чем в Америке – во всяком случае, если судить по улыбке, не судорожной, будто приклеенной американской *keer-smile*, а широкой, во все лицо, наполненной симхат хаим, радостью жизни. Такая улыбка была теперь у Жени; такая же появилась за семь лет и у Маши.

Маша обернулась через плечо и еще раз улыбнулась на прощанье. С неожиданной завистью Горский подумал о Сергее Волкове, который проведет с Машей ближайшие три недели.

Никто не улыбался в аэропорту Шереметьево, кроме Маши Манейлис. Ни на паспортном контроле, ни на выдаче багажа, ни в зеленом коридоре. По временам Советского Союза Маша помнила, что улыбка почему-то раздражает людей – но сегодня ничего не могла с собой поделаться. Три часа полета под Леонарда Коэна в плеейере, час в очереди у российской границы, улыбка во все лицо. Сумка будто ничего не весит, и даже тяжеленный чемодан Маша стянула с ленты транспортера одной рукой. Маша не была в Москве с пятого класса: художественная школа на ноябрьские праздники послала двенадцать учеников на экскурсию, которая была бы еще лучше, если б не приходилось каждый вечер звонить маме и подробно рассказывать, где были сегодня, что видели и что понравилось больше всего. В маминых страстных вопросах чувствовалось ожидание ответного восторга, и Маша изо всех сил старалась соответствовать, при каждом удобном случае возбуждая в себе художественный экстаз. Именно это усилие и запомнилось больше всего, будто оно стояло между маленькой Машей и всем, что она видела в эти дни. На холодных московских улицах, в переполненных залах музеев и даже в гостинице, где они жили, она придирчиво рассматривала каждую вещь, словно пытаясь определить – сгодится ли для отчета, дергает ли за какие-то струны в душе. Мама любила говорить про струны, и Маша почему-то всегда представляла дядю Сеню, который щипал прокуренными пальцами специально для него купленную гитару. Порой ей казалось, что душевные струны и должны отзываться на что-то типа «В Кейптаунском порту» или «Ребята, надо верить в чудеса...» – и присматриваясь к картинам, витринам и одежде московских пешеходов, Маша пыталась понять, что? больше всего похоже на кухонные песни дяди Сени. По вечерам она звонила из гостиничного номера и подробно, боясь что-нибудь пропустить, рассказывала о романтических переживаниях прошедшего дня. Тогда еще слово «романтический» не связывалось с любовью, а просто означало что-то, выделяющееся из серых буден. Будни в Москве были бело-красными от раннего снега, праздничных флагов и транспарантов, но Маша уже тогда понимала, что маму не интересует ни Мавзолей, ни Красная площадь. Маша сама не знала, откуда взялось это понимание, но оно было естественным, хотя Маше никогда бы не пришло в голову сказать о нем другим девочкам. Впрочем, Ида Львовна показывала Красную площадь как-то на бегу, словно школьница, отвечающая скучный урок, хотя и выученный наизусть. Зато в Пушкинском музее, у картин Моне и Ренуара, она говорила вдохновенно, и Маша немного завидовала ей: вот у кого сами по себе звучали струны души, без всякого пробного подергивания. Но все равно, чувствительная художественная душа не помешала Иде Львовне устроить Маше скандал в самый последний московский день: выяснилось, что Маша наговорила с мамой на тридцать два рубля с копейками, и Ида Львовна кричала, что Маша безответственная девочка, не понимает, что мать работает круглыми сутками, чтобы в одиночку поставить дочь на ноги, а Маша не знает цены деньгам, и она, Ида Львовна, не будет платить из своего кармана, и родительский комитет тоже не будет, и, значит, придется платить Машиной маме,

которая и так работает круглыми сутками, чтобы в одиночку поставить дочь на ноги, а Маша не понимает и треплется по телефону, словно у нее папа – академик.

Маша не очень ясно представляла, кем был папа, но точно – не академиком. Ей не было года, когда он развелся и уехал из города, может быть, даже в Москву, а может, и дальше – за Урал, в Сибирь, и только дядя Сеня, папин брат, иногда получал от него поздравительные открытки на какие-то странные праздники типа Дня геолога или Международного Дня защиты детей. В открытках этих, возмущалась мама, о дочери – ни слова, но Маше нравилось представлять, что мама просто не хочет говорить об этом, а тем временем папа просит дядю Сеню заботиться о них, и поэтому тот так часто приходит в гости. Кстати, дядя Сеня и выплатил злополучные тридцать два рубля ноль семь копеек, и тогда Маша твердо решила, что, когда вырастет, с первой же зарплаты обязательно отдаст долг. Первую зарплату она получила уже в Израиле, а стипендия, которая была у нее в харьковском Худпроме, расходилась так быстро, что мысль отдать тридцать два рубля из сорока не приходила в голову – тем более, что Маша давно забыла свою детскую клятву и вспомнила только сейчас, в «Шереметьево-2», высматривая в толпе Сережу Волкова и думая, сколько деноминированных рублей надо было бы сегодня вернуть дяде Сене, если бы он был жив.

Она миновала зеленый коридор и теперь шла живым коридором встречающих, с картонками в руках, выкрикивающих «такси, такси», встающих на цыпочки и спрашивающих с интонацией ее покойной бабушки: «Простите, девушка, это рейс из Тель-Авива?» Сережи Волкова нигде не было видно, но вдруг сквозь шум и гомон шереметьевской толпы Маша услышала свою фамилию. Она обернулась на голос и увидела Ивана Билибинова, который глянцево, по-американски, улыбался ей. Это была ее первая московская улыбка.

– Привет, – сказал Иван. – У Волкова сегодня утром встреча неожиданно назначилась... ну, и я здесь.

Он развел руками, а Маша подумала, что он сказал «назначилась», будто встреча – живое существо, наделенное собственной волей.

– А, – протянула она, стараясь изобразить смесь разочарования и легкого недоумения: мол, ничего страшного, но как-то странно, мог бы и встретить старую подругу. Ей казалось, именно такой реакции ждет от нее Билибинов, хотя, честно говоря, она ничуть не огорчилась.

Сказав Горскому, что собирается в Москву к Сереже Волкову, она немного соврала. Волков не слишком интересовал ее: она это поняла еще много лет назад в Крыму. Наверное, он был неглуп и, может быть, даже хорош собой, но на Машин вкус немного вяловат: типичный московский юноша, очарованный романтическими красотами южного берега Крыма. Таких, как Волков, дед называл шлимазл, и это было единственное слово на идиш, которое он употреблял, – возможно, потому что сам был чистокровным хохлом. Каждый раз, слыша шлимазл, Маша понимала: чтобы выразить пренебрежение к такому человеку, уже не хватает ни русского, ни украинского.

К тому Волкову, которого она знала когда-то в Коктебеле, она бы ни за что не поехала, но за прошедшие годы он как-то изменился, и на смену лихорадочному московскому желанию покайфовать на югах пришла легкая расслабленность, какой-то даже буржуазный лоск, этакое скромное обаяние. Но как мужчина он все равно был не Машиного типа, ничего не попишешь. Может, дело в том, что все пять часов, которые они провели в пражских пивных, Сережа добивался от Маши каких-то давно позабытых воспоминаний. Да, он был предупредителен и мил, но Маше куда больше понравился молчаливый Иван Билибинов. Наверное, меня теперь привлекают сдержанные, спокойные мужчины, словами дамского романа думала Маша, прикидывая – с чего бы это: реакция на трехлетний роман с Мариком или просто возраст?

– Он пытался дозвониться вчера вечером, но тебя не было дома, – пояснил Иван, словно оправдываясь за Волкова.

– Позвонил бы на пелефон. – Маша попыталась пожать плечами, сумка соскочила, и Иван едва успел ее подхватить.

– Куда? – переспросил он, взяв у Маши сумку и чемодан.

– На пелефон, на селл... как это теперь называется в России? Сотовый?

– Мобильный, – поправил Иван. – Никто уже не говорит «сотовый». А в Израиле – «пелефон»?

Маша кивнула. Она сама уже не помнила точно историю: кажется «Пелефон» была первая компания, вышедшая на рынок мобильной связи. «Пеле» – это «чудо» на иврите, и вот название прижилось, как слово «ксерокс» для копиров в России.

Высокий, светловолосый, широкоплечий Иван, отбиваясь от таксистов, пошел вперед увлекая за собой Машу к припаркованной чуть в стороне «тойоте». В машине он снял светло-бежевый пиджак и повесил на плечики над задним сиденьем.

– Жарко, – сказал он, – а кондишн что-то барахлит. Все равно приходится в костюме ходить, у нас в офисе дресс-код.

Вот поэтому я никогда не работала ни в одном офисе больше месяца, подумала Маша, усаживаясь на переднее сиденье.

– Давно не была в Москве? – спросил Иван.

– Считаю, никогда не была. Со школой ездила в пятом классе.

– Из Израиля?

– Из Харькова.

Иван кивнул, и Маша вспомнила: кто-то объяснял ей, что для москвичей обитаемая земля кончается за пределами кольцевой и снова начинается за Чопом и Брестом. Интересно, подумала она, сдвинулись ли эти границы после распада Союза? Или для московских яппи Харьков теперь совсем уже middle of nowhere¹? Когда-то Машин родной город был хотя бы известен как пристанище «харьков» – страшных харьковских гопников, наезжающих в Крым 23 августа – отметить день освобождения родного города от немецко-фашистских захватчиков побоищами среди хиппи и диких туристов, облюбовавших камни Симеиза.

– Ты теперь Москвы не узнаешь, – улыбнулся Иван.

– Да я ее толком и не видела, – сказала Маша. – Мы все больше по музеям ходили.

Последний раз московский поход по музеям Маша вспоминала год назад в Амстердаме, когда Марик потащил ее в музей Ван Гога. На этот раз речь не шла ни о каких трепещущих струнах: мама давно уже не приставала к Маше с расспросами, а самого Марика больше волновали местные кофе-шопы. Музей был просто местом, где надо отметиться, – как-никак, подруга художница, да и сам – интеллигентный еврейский мальчик, надо же хоть чем-то отличаться от друзей, которые ездят в Амстердам легально обкуриться. Поэтому они и пошли смотреть Ван Гога и Маше, к ее удивлению, в музее понравилось, хотя она сто раз видела все на репродукциях. Они переходили от картины к картине, и Марик шипел на ухо о позитивных вибрациях – не иначе, как тех же маминых душевных струнах. Тогда-то Маша и подумала, что хорошо бы съездить в Москву, пройти по Пушкинскому и Третьяковке, уже без Иды Львовны и вечерних звонков маме. За прошедший год Маша об этом позабыла, так что сегодня ей уже хотелось избежать туристских маршрутов, найти потаенный, сокрытый от всех город, сакральную, незримую Москву, знакомую только столичным аборигенам. В поисках примет этой Москвы она смотрела в окно «тойоты»: вдоль Ленинградки проплывали рекламные щиты. Маша вспомнила, как полгода назад пыталась делать такие поп-артовские коллажи в псевдо-рекламном стиле, но дело не пошло, картинки все-таки брали лучше. Особенно романтические, с пейзажами, луной и каким-то намеком на неземную страсть. Такие получались у Маши хорошо, может быть, даже лучше, чем у ее подруг, веривших в неземные страсти. Маша нико-

¹ Зд. – незнамо где (англ.).

гда не верила, что пейзажи как-то способствуют любви. Любовь – не кругляш луны и не кружево прибоя, а всего лишь неясные колебания эфира, предчувствие перемен, дрожь предвкушения. Главное – не спугнуть, не сделать резкого движения, не броситься очертя голову, до того, как все созреет и случится само. И сейчас, глядя на Билибинова, маневрирующего в своей «тойоте» среди немытых московских машин, Маша ощущала знакомый трепет, будто в самом деле вибрировали те струны, в которые так верила мама.

– Не могу до Сережи дозвониться, – сказал Иван выходя из машины около подъезда, – Наверное, мобильник выключил. Забросим к нему вещи, а потом я тебя в офис отвезу.

– А душ можно будет принять?

– Конечно.

– Или даже ванну, – мечтательно сказала Маша. – У вас ведь по-прежнему вода бесплатная?

В Израиле вода стоила фантастических денег (что естественно для страны, выросшей посреди пустыни), и вдобавок в домах, где жила Маша, всегда была проблема с бойлером: если кто-то принимал ванну, остальным не хватало горячей воды даже умыться.

– Да, – сказал Иван, нажимая кнопку лифта, – вода и воздух у нас бесплатные. А в остальном Москва – самый дорогой город мира.

В голосе его звучала гордость.

– Хорошо, что у меня есть ключи от Сережиной квартиры, – сказал он, – а то пришлось бы в офис заезжать.

Иван отпер дверь. Маша подумала, что это первая московская квартира в ее жизни. Сняв туфли, она рассматривала прихожую – светлые обои с рельефным рисунком, тусклая елочка паркета. Сквозь приоткрытую дверь гостиной виден густой ковер, белые стены, открытое окно. В комнате почему-то горел свет.

– Пойдем, покажу тебе квартиру, – сказал Иван. – Сережа ее всего год назад отремонтировал.

Сделал два шага, вошел в гостиную, замер на пороге, спина словно одеревенела. Маша подошла к нему и увидела Сережу Волкова, неподвижно сидевшего на полу у самой стены. Ковер промок от крови, серые глаза широко открыты. Огонек лампы мерцал в них блеклой точкой.

4

Первой Машиной мыслью было: «Мама скажет, что она опять права!». Подумала и сама разозлилась – какое, собственно, маме дело? Можно ей вообще ничего не говорить. И почему она сейчас стоит над первым трупом в ее жизни и думает о том, что скажет мама. Как маленькая, честное слово.

Она заставила себя посмотреть в лицо мертвецу. Сережин рот был полуоткрыт, кровь запеклась в уголке. Верхние пуговицы шелковой рубашки расстегнуты, видны светлые, слипшиеся от крови волосы. Маша сглотнула, сказала: «Надо вызвать милицию», – и потянулась к радиотрубке на столике.

– Ничего не трогай, – сказал Иван, но в этот момент телефон зазвонил, и он автоматически взял трубку.

Вечно так, раздраженно подумала Маша. Решать за других – пожалуйста, а сами-то. Марик всегда говорил, что она разбрасывает вещи по дому, – а между прочим, через несколько месяцев после того, как он съехал, она нашла его трусы за диваном. Обычное мужское поведение. Вот сволочь.

– Сейчас Вадим Абросимов придет. – Иван положил трубку. – Живет в доме напротив, увидел, как мы подъехали, вот и позвонил.

Да уж, подумала Маша, большой город, а все как у нас: всем всё видно. Кто куда зашел, что сделал. Посмотрела на Ивана, и тот пожал плечами:

– Извини, что я на тебя накричал. Просто напугался, ну, и думал, что...

– Ничего, – кивнула Маша, – чего уж там.

Да, глядя на Ивана, трудно было поверить, что убийства в России стали обычным делом. Маше захотелось взять его за руку и сказать: «Все обойдется», – хотя она понимала, что ничего не обойдется: вот он, Сережа Волков, лежит на ковре, и уже двое мужчин склонились над ним.

– Фью, – присвистнул Абросимов.

Тоже, наверное, напуган, но вида не подает. Похож на сытого кота, с растрепанными усами, в белоснежной футболке и светло-голубых джинсах. На внезапно постаревшего кота с рекламы «китикэт», вообще – на рекламного персонажа, немного растерянного, потому что покинул привычный глянцево-мир.

– Надо вызвать милицию, – повторила Маша.

– Не надо, – решительно сказал Иван. – Мы в России милицию не любим.

Вот, подумала Маша, есть хоть что-то неизменное – недоверие к властям. Власти могут смениться, а недоверие останется. Удивительно, что, переехав в Израиль, мама решила полюбить местные власти, и общаться с ней стало совсем невозможно. Хотя, если вдуматься, все власти одинаковы, в любой стране, да и в любое время. Но полицию в Израиле Маша все-таки вызвала бы: даже Марик, при всех своих закидонах, спокойно звонил в полицию, если вечеринка у соседей сверху, шумных молодых сабров, переваливала за полночь.

– Поехали в офис, – сказал Иван, – пусть Крокодил Гена разбирается. У него свои прикормленные менты.

– Что значит «прикормленные менты»? – спросила Маша.

– Это что-то вроде домашних крыс, – объяснил Иван. – Их надо хорошо кормить, чтобы они тебя не съели.

– Домашние крысы – милейшие существа, – возразил Абросимов. – Это, считай, другая порода. Не те, что на помойках.

Он улыбнулся, и Маша снова вспомнила про телерекламу. Неясно, что бы мог рекламировать Вадим: прочность денима ливайсов, отбеливающее действие «Ариеля» или зубной блеск «Колгейта».

– В этом их отличие от ментов, – ответил ему Иван, – Тут уж как волка не корми... – Абросимов почему-то посмотрел на него осуждающе, и Иван осекся. Потом оба оглянулись на Волкова, и Вадим быстро сказал:

– Упокой, Господи, Сережину душу.

До офиса доехали быстро – всего за полчаса. Вдыхая бензиновую московскую вонь, Маша думала, что не понимает, зачем ехать на машине – ведь пробка все равно движется со скоростью пешехода. На велосипеде вышло бы куда быстрее, вот в Амстердаме все ездят на велосипедах, Марика однажды чуть не сшибли. Обычно вспоминать Марика было неприятно, но сегодня Маша предпочитала вызывать в памяти его веснушчатое худое лицо, а не поникшую трюпичной куклой фигуру Волкова.

– Как ты думаешь, когда это случилось? – спросил Билибинов.

– Поздно ночью, – ответил Абросимов, – или рано утром. Кровь уже засохла, ты же видел.

– Я говорил с ним часов в десять. По мобильному, из «Мамы Зои».

– Ну, как минимум в полдвенадцатого он еще был жив.

– Звонил тебе?

– Нет, – ответил Абросимов, – я просто видел. Из окна.

Разговаривая, они словно забыли о Маше, но теперь Иван обернулся к ней:

– Прости, что мы так говорим. Мы, на самом деле, тоже сильно переживаем. Он же был мой ближайший друг, ты знаешь.

– Да-да, – кивнула Маша и вдруг поняла: что-то с ней не так. Она злилась на маму, которая сглазила ее поездку, нервничала при виде крови, волновалась из-за того, что непонятно, где теперь жить, – но совсем не переживала. Она попыталась вспомнить, каким был Сережа Волков при жизни – и не смогла.

– Я хочу тебе сказать, что мы скорбим вместе с тобой, – продолжал Иван. – И мы, Сережины друзья, постараемся сделать все, что от нас зависит... ну, ты понимаешь.

Маша не понимала, но кивнула еще раз.

– Ты раньше была в Москве? – спросил с переднего сиденья Абросимов.

– Давно.

– Давай тогда Денис тебе покажет город. Он мастак на такие дела.

– Точно, – согласился Иван. – Я думаю, Сережа был бы рад, чтобы Денис.

– Кто это? – спросила Маша. Она бы предпочла, чтобы Иван сам показал ей город. Вот еще одно чувство, вдобавок ко всем прочим: ей нравится смотреть, как он водит машину. Если, конечно, можно считать вождением это бесконечное стояние в пробках.

– Майбах, – ответил Абросимов, – приятель мой, тоже у нас работает. Тебе понравится. Еврей, как и ты.

– Мне как-то без разницы, – ответила Маша.

– А я их вообще-то не очень, – все так же дружелюбно улыбаясь, сообщил Абросимов.

– То есть? – сказала Маша. Она не то чтобы разозлилась, но опешила. За годы в Израиле она привыкла к тому, что антисемитизм – это только статьи в газетах, пропаганда по телевизору и воспоминания о жизни в Союзе. Так в годы ее детства «Правда» писала о безработице: за границей бывает, а у нас – никогда.

Абросимов смутился.

– Да я пошутил, – сказал он. – Это же цитата, из фильма «Брат». Ты не видела, что ли? Отличное кино.

5

Страховая компания «Наш дом» возникла еще в начале девяностых. Два выпускника физтеха, Геннадий Семин и Олег Шевчук, основали ее, сообразив, что наработанный в альма-матер аналитический аппарат можно применить не только к далеким от жизни проблемам физики твердого тела.

Поначалу они занялись страхованием промышленных предприятий, благо директором одного из заводов оказался дядя Гениного одноклассника. В общих чертах схема была простой – предприятие страховало все, что могло, и вносило деньги на счет «Нашего дома». После этого Гена и Олег их обналачивали и возвращали, удержав значительный процент за услуги. Что происходило с деньгами дальше, основателей «Нашего дома» не очень волновало: вероятно, что-то разбредалось по конвертам в качестве черной зарплаты, а большая часть оседала в карманах директоров. К реальному страхованию все это не имело отношения. Страховые взносы относились на себестоимость продукции, что позволяло предприятию снижать прибыль и, соответственно, платить меньше налогов.

Однако в 1995 году начались проблемы: правительство мало-помалу стало прикрывать одну лазейку за другой, так что проверенные схемы, приходилось переделывать, а то и вовсе отменять. Олег решил, что лучше продать свою долю в бизнесе, а самому вернуться к физике – тем более, что бывший научный руководитель плотно обосновался в МИТ² и звал Олега к себе уже третий год.

Выкупив долю партнера, Геннадий сократил штат в полтора раза, вложил в рекламу и, помимо работ по старым, но модифицированным схемам, занялся продажей реальных страховок. Как правило, страховались грузы и офисы, но последние годы дело дошло до автомашин и медстраховок. Частными клиентами занималась небольшая группа, которой руководил Федор Поляков. Абросимов и Майбах были при нем сейлами.

Денис Майбах в свое время пришел в «Наш дом» заниматься дизайном и рекламой, но незадолго до проведенного Геной сокращения обнаружил в себе дар беседовать с людьми, продавая им в два раза больше, чем они собирались купить. Когда Геннадий отказался от идеи самим делать рекламу и обратился к «Юнайтед Кампейнз», он не уволил Дениса, а перевел в сейлы. Тут Майбах расцвел и, помимо прочего, завел дружбу с Вадимом Абросимовым. Вадим был на пять лет старше, но оба постепенно вступали в возраст, когда такая разница не имела значения. Фразу, начатую одним, другой подхватывал и продолжал – но теперь, услышав о смерти Волкова, Денис не знал, что сказать.

В мире, где он жил последние годы, смерти не было места. Иногда Денис слышал, что умер кто-то из старых, почти забытых друзей – овердоз или самоубийство, – но это были люди из прошлой жизни, прошлой именно потому, что драйв и веселье в ней закончились давно, а на смену пришла гнетущая духота. Денис покинул старую жизнь без сожаления и, оказавшись в «Нашем доме», радовался, что избежал и распада веселого кайфа беззаботных шалопаев, и адреналиновой гонки большого постперестроечного бизнеса, где одинаково легко было стать миллионером и покойником, а чаще – сначала одним, потом другим.

Теперь смерть существовала только строчкой в полисе или в перечне услуг из рекламного буклета: «страхование на случай смерти», как раз между машиной и жильем. Казалось, включенная в полис, смерть создает проблем не больше, чем разбитое окно в Денисовом «ниссане». Вот уже второй день без машины, в мастерскую никак не привезут новое стекло, но в общем-то нет причин волноваться. Да, конечно, Денис знал, что ни страховка, ни костюм от «Бриони», ни туфли от «Джанни Барбатео» не спасают от смерти, – но это было пустое знание, за которым

² Массачусетский институт технологий.

до сегодняшнего дня не стояло никакого живого ощущения. До сегодняшнего дня в том мире, где теперь жил Денис, смерти не было, и когда внезапно умер – более того, был убит – именно Сережа Волков, ткань мира как-то расползлась.

Такие люди, как Сережа Волков, не должны умирать. Они *not designed for death*, не сконструированы для смерти. И тем более – для насильственной. Те, кому суждено получить пулю, занимались совсем другими делами. Еще лет восемь назад они припали к источникам больших энергий – деньгам, криминалу, наркотикам, – и когда эта энергия шла горлом, захлебывались кровью и умирали от выстрела, подстроенной аварии или взрыва. Если Сереже Волкову и не хватало чего-то в жизни, так этой самой энергии: он был обаятелен, мягок, ироничен – но никогда Денис не видел в нем возбуждения и драйва. Впрочем, может быть, девушки видели.

Конечно, девушки знали Волкова куда лучше, чем Денис. Он ясно представил, что ближайшую неделю ему придется выслушивать слова о том, каким был Сережа, каждая сотрудница расскажет какую-нибудь историю и не один раз, многие молча вспомнят то, чего нельзя рассказывать в курилке или за столиком в «Кофе Бине». Придется кивать и тоже добавлять в поминальную копилку свой обол, мелочь, которая казалась незначительной, а теперь стала трогательной и исполненной печали об исчезающей красоте мира. Вот, на прошлой неделе они вместе пили кофе, и Сергей жаловался, что начал уставать от работы, а потом вдруг грустно улыбнулся и сказал: «Хорошо тебе, ты хоть людям помогаешь», – и тут задел чашечку и опрокинул кофе на проходившую официантку. Денис еще подумал, как все связано в жизни, – стоит чуть-чуть выпасть из позитивного течения, и все сразу начинает сыпаться. Сергей стал извиняться, давать деньги, Денис смутился и вышел в туалет, а когда вернулся, девушка уже отошла от столика и, улыбаясь, беседовала с другой официанткой за стойкой, поглядывая на Волкова. Когда Денис проходил мимо, они замолчали, и он успел подумать, что Сережа все-таки неприлично нравится женщинам, неясно даже почему. Вот так всегда: вспомнишь какую ерунду, чтобы рассказать в курилке, а у самого щиплет в глазах, будто тебе десять лет или даже шесть.

Денис деловито почесал уголок глаза и сказал:

– Не самурайская смерть.

– В смысле? – спросил Абросимов.

– Я всегда был уверен, что он умрет, как жил, – в объятьях какой-нибудь барышни.

Абросимов приложил палец к губам и взглядом показал в дальний угол комнаты. У дверей Гениного кабинета сидела невысокая черноволосая девушка в темном с вышивкой платье. «Похоже на «Kenzo», – подумал Денис, – но я не знаю такой коллекции». В руках она вертела темные очки «Calvin Klein», иногда отрываясь от них, чтобы намотать на палец прядь волос и тут же отпустить.

– Кто это? – шепотом спросил Денис.

– Это та самая Маша Манейлис, из Израиля, – ответил Абросимов.

– Красивая, – протянул Майбах, – покойнику везло на барышень.

– А барышням с ним – нет, – ответил Абросимов и отвернулся.

Денис молча накрыл его руку своей.

– Может, теперь все наладится, – сказал он после паузы и посмотрел на Машу: палец все еще скользил туда-сюда по черной спирали локона.

Когда-то Геннадий Семин был худощавым очкариком с волосами до плеч. К тридцати годам волосы поредели, очки уступили место линзам, а сам он раздался вширь. Он знал, что сотрудники за глаза называют его Крокодилом Геной, но не обижался, воспринимал как комплимент: крокодил из советской сказки был стопроцентно положительный герой. Но сегодня, обливаясь потом под ветерком кондиционера, он в самом деле чувствовал себя какой-то гигантской рептилией, почему-то усевшейся за огромный, в полкабинета, стол, купленный еще Олегом. Выбросить бы, да купить новый, но все руки не доходят.

Таким и увидела Гену Маша: скомканный клинекс в руке, капли пота на лысине, мятый пиджак и съехавший набок галстук. Коротко стриженная брюнетка, по-секретарски длинноногая и непропорционально большеротая, проводила Машу в кабинет. Гена со вздохом выволок себя из кресла, поправил галстук и протянул потную ладонь:

– Геннадий, – представился он и, влажно пожимая Машину руку, добавил: – Примите мои соболезнования.

– Спасибо, – ответила Маша.

– Милиция сейчас занимается этим делом, – продолжил он, – но Иван сказал, что у вас могут возникнуть проблемы...

Маша непонимающе посмотрела на него.

– Вы ведь собирались жить у Сережи?

– Да, конечно.

– Квартину, видимо, опечатают, так что нам придется подыскать для вас отель.

– Я могу и сама... – начала Маша, но Геннадий запротестовал:

– Нет-нет... Вы же все-таки были Сережиной невестой...

«С чего это вы взяли?» – хотела сказать Маша. О невесте и речи не шло – так, старая подруга. Что за местечковая мораль, подумала она, если девушка приезжает к парню – так обязательно невеста. Мы даже и не спали ни разу. Но сейчас поздно возражать – Сережа умер, неуместно пожимать плечами и удивляться: какая невеста, да вы что?

– Мы должны это сделать в память о нем, – сказал Геннадий. – Подождите немного в приемной, Наташа сейчас подыщет для вас отель.

Собственно, приемной как таковой не было: офис состоял всего из трех комнат – кабинета Геннадия, переговорной и большого светлого помещения, заставленного столами с компьютерами. Для полного сходства с израильскими офисами не хватало только невысоких перегородок, которые уже начали появляться в Москве. Гена, впрочем, держался за атмосферу большой семьи, и потому всё в офисе оставалось как три года назад, когда они только переехали в это здание.

Итак, Маша села в кресло у стола большеротой Наташи и уставилась на собственные ногти. Вчера вечером она делала маникюр и, сидя в кресле маникюрши, думала о предстоящей поездке. Все так забавно складывалось, жизнь сделала круг и даже не один: сначала в Праге встретила Волкова, теперь – Горского, а завтра полетит в Москву, где вообще не была неведомо сколько.

Маша вспоминала, когда последний раз пыталась работать секретаршей. Дело было в какой-то маленькой хай-тек компании, ребята только что окончили Технион, и первое время работа казалась раем, особенно после того, как Маша побывала официанткой в ночном боулинге на Цомет Кирьят-Ата. Правда, через два месяца все равно поняла, что не выдерживает – и уволилась, тем более, что уже наклеивался роман с Мариком. Сколько же лет прошло? Шесть? Пять? И вот теперь она сидит в офисе как почетная гостья, невеста покойного яппи, и другая девушка делает для нее работу, которую когда-то должна была делать она.

У Наташи был удивительный переливчатый голос – наверное, из-за голоса на работу и взяли, подумала Маша. Будь она мужчиной, не могла бы отказать девушке, которая говорит «мне очень, очень нужен номер на одного в вашем отеле» с такой интонацией. Но, видимо, уши московских администраторов были закрыты для Наташиных фиоритур прочнее, чем уши Одиссеевых гребцов для пения сирен.

Наташа на секунду замолчала, набирая новый номер, и Маша услышала совсем другой женский голос, спокойный и холодный. Чтобы его представить, достаточно взять шипение змеи в детской радиопостановке, убрать форсированные шипящие и добавить легкого сожаления – словно кобра говорит с птицей, заранее извиняясь, что сейчас съест ее птенцов.

– Простите, Аля, что это такое?

Ей отвечал другой голос, тоже тихий, но то и дело позвякивающий недовольным колокольчиком:

– Это, Елизавета Марковна, проект договора. Его нам прислали сегодня утром. Здесь стоит время. Наверху.

Снова ледяной голос, тихий и сдержанный:

– А вы объяснили им, Аля, что мы работаем только по нашим стандартным договорам?

Возникла секундная пауза, потом девушка ответила:

– Я не успела, Елизавета Марковна. Мы только один раз по телефону поговорили. – Звона колокольчиков в голосе поубавилось. – Извините меня, Елизавета Марковна...

– Вот посмотрите, Аля, как получается... люди старались, составляли договор, посылали его нам...

Пауза и в паузе – струящийся Наташин напев: «Ой, может быть, вы все-таки посмотрите?» – а потом снова – холодный голос:

– А ведь я даже читать его не буду. Потому что мы работаем только по нашим стандартным договорам.

Раздался треск, словно разрывали бумагу: Маша повернулась и успела заметить, как высокая рыжая женщина бросает в корзину обрывки факса. Перед женщиной стояла красивая молодая девушка в светлом брючном костюме. В руках она теребила карандаш, но головы не опускала.

– И вот скажите, Аля, хорошее ли это начало для сотрудничества?

– Нет, Елизавета Марковна, – ответила девушка, – это плохое начало. В следующий раз я буду сразу объяснять...

– Я знаю, Аля, – сказала женщина, – вы решите эту проблему. Позвоните им и объясните, в чем дело.

По цокоту каблуков Маша поняла, что Аля отошла, и тут Наташа сказала:

– Пойдемте, что ли, я нашла для вас гостиницу, и Геннадий Степанович просил вас отвезти.

Она улыбнулась, и Маша вспомнила лягушку из анекдота про изюм и мармелад. Интересно, дразнили ли ее в школе, размышляла Маша, идя к выходу мимо столов с гудящими компьютерами. Ивана Билибинова нигде не было. Хотя бы попрощался, с обидой подумала Маша, не понятно ведь, когда еще увидимся.

6

На улице Наташа поймала частника – разболтанную «волгу», где пахло бензином и советскими сигаретами, которые курил когда-то дядя Сеня. После семи лет в Израиле их запах уже не казался Маше волнующим – может быть, потому что мешался не с запахом «импортного» одеколона, а с застарелой вонью, вьющейся в велюровые чехлы.

– Ты, что ли, давно не была в Москве? – спросила Наташа.

– Со школы, – сказала Маша со вздохом. Она поняла, что обречена отвечать на этот вопрос еще три недели.

– Эх, жалко, ты в июле не приехала, – огорченно кивнула Наташа. – Тогда еще после урагана не все убрали. Было гораздо прикольней.

Маша слышала про ураган, обрушивший по всей Москве старые деревья и ветхие рекламные щиты. Неделью русские в Израиле говорили только о нем, и Маша даже порадовалась, что наконец-то российские катастрофы стали естественно-природного типа, как в большой, уважающей себя стране: надоело, что в новостях о бывшей родине говорят только про путчи, танковую стрельбу в столице или угрозу коммунистического реванша. Женя, правда, вычитал в газете, что с Кремлевской стены рухнул один зубец и сказал, что Ельцин, «как все ограниченные люди суеверный», должен углядеть в этом дурное предзнаменование.

– А лучшая история, – рассказывала Наташа, – случилась с моими друзьями. Они пошли в «Кодак-Киномир» смотреть «Годзиллу» – ну, знаешь, американский ужастик, нестрашный, правда, совсем. Годзиллу эту жалко даже в конце, когда она так глазом делает хлоп. Но зато в «Кодаке» звук обалденный, кажется, будто Годзилла прямо по фойе идет. И вот, пока они там были, ураган как раз прошел. Представляешь? Только что им показали, как Нью-Йорк разфигачили, а тут выходят – и Москва в руинах! От такого точка сборки у кого хошь сместится.

– Что такое точка сборки?

– Не слышала, что ли? – удивилась Наташа. – Так говорят в смысле: «офигеть можно».

– Понятно, – кивнула Маша. – А в Москве теперь снова ходят в кино? Я слышала, все смотрят видео.

Она смутно помнила, что побывавшие в Москве знакомые говорили о закрытых кинотеатрах, где торгуют итальянской мебелью и немецкими автомобилями. Кто-то даже пытался представить это символом победы демократии – мол, общество потребления приходит на смену идеологическому оболваниванию, товары заменяют советскую пропаганду, – хотя Маша не могла понять, в чем же тут победа, когда в демократических странах фильмы показывают в кинозалах, а машинами торгуют в автомобильных салонах.

– Да ты не знаешь, что ли? Видео – это отстой, – ответила Наташа. – Все уж год как в кино ходят. У нас теперь всюду «долби» и даже «долби сураунд». Высший класс, просто супер, не в курсе, что ли?

Маша смотрела в окно на запруженную иномарками улицу и вспоминала, что где-то прочла: такого количества «мерседесов» и «БМВ», как в Москве, не найдешь даже в Германии. Интересно, сколько лет ей бы понадобилось рисовать свои картинки и разносить их, словно коммивояжер из американского кино, чтобы заработать на черную машину с надорванным пацификом на капоте, которая стоит в пробке рядом с ними?

– А вам нормально платят? – спросила она у Наташи.

– Ну, кому как, – ответила девушка. – Мужикам побольше, конечно, но и девкам тоже неплохо.

– То есть как? – не поняла Маша.

– Ну, мужики же лучше работают, – пояснила Наташа, – потому им и зарплата положена больше.

Удивительно даже не то, что женщинам платят меньше, подумала Маша, а то, что они находят это в порядке вещей.

– Нам, правда, запрещают говорить про наши зарплаты, – продолжала Наташа. – То есть нет, не запрещают, у нас же демократия, зачем запрещать. Мне, когда я к Геннадию Степановичу устроилась, просто объяснили, что я могу ответить на вопрос о том, сколько мне платят, – но только один раз. То есть после этого меня уволят. Но ты же меня не спрашиваешь, верно? Поэтому я тебе не отвечаю, а просто говорю: «пятьсот». И это, значит, не считается. Пятьсот – это правда круто, да?

– Да, – сказала Маша, удивляясь – чего же в этом крутого?

– А Лиза зарабатывает, что ли, три с половиной, я думаю, если не все четыре.

– Кто такая Лиза? – спросила Маша.

– Ну, рыжая такая, которая еще сегодня Алёу ругала. Ты ее не знаешь, что ли?

– Стервозного вида?

– Нет, ты что? Она же наоборот, очень мягкий человек! Да любой мужик орал бы матом минут десять, а она просто все объяснила. Она очень хороший менеджер, ты не поняла, что ли?

Маша удивилась, как Наташа умудрялась одновременно вызванивать гостиницу и замечать все, что происходит в офисе.

– Нет, я, конечно, редко работала в таких местах, но по-моему, хороший менеджер – это человек, который не доводит своих сотрудников до того, что у них руки трясутся. Они же после этого, наверное, плохо работают. Неэффективно.

– Может быть, – сказала Наташа. – Все равно Лиза хорошая. Она просто нервная сегодня, потому что у нее любовника убили.

– А она была Сережиной любовницей? – спросила Маша.

– А ты, что ли, Сережу знала? – улыбнулась Наташа. – Он милый был, правда? Я думала, ты только сегодня приехала.

– Ну да. Я к нему и приехала.

– Так ты – Маша? Из Израиля? Прости, ради бога, что я про Лизу сказала. Может, это и не наверняка. – Наташа схватила Машу за руку и заглянула в глаза. – Прости, ради бога, я просто сплетница страшная, если бы я знала, что ты его невеста, я бы ни за что...

– Да с чего вы все взяли, что я его невеста? – не выдержала Маша. – Я просто приятельница.

– Но он же всем говорил, что к нему невеста из Израиля приезжает, – удивилась Наташа.

– Может, про кого-нибудь другого?

– Да нет, вряд ли. Ведь ты из Израиля, верно?

Маша кивнула.

– Ой, если ты из Израиля, тебе тогда обязательно надо на Псою Короленко сходить! Меня Денис Майбах водил в клуб, Псой так зажигает! Тоже песни на еврейском поет. Тебе понравится, смешной очень. А ты ведь правда не обижаешься, что я так про Лизу сказала? Может, и не было у них ничего, я, что ли, знаю?

– Да мне без разницы, – сказала Маша, – ты не переживай.

Маше стало неловко, словно когда-то в морском ресторане на набережной в Хайфе. Официант принес Маше вместо обычных креветок – жареные на гриле, и Марик стал кричать, хотя Маша порывалась сказать, что ей совершенно все равно. Тут же прибежала девушка-менеджер и стала перед Машей извиняться и извинялась, не давая вставить слово, и Маша не успела объяснить, что она с удовольствием съест и жареные, но их уже успели унести, и пришлось ждать еще двадцать минут. Ресторан был дорогой, как все морские рестораны в Израиле: дары моря – некошерная еда и потому сразу попадают в категорию роскоши и пижонства. И весь ужин Маше было мучительно неудобно и перед официантом, и перед девушкой-менеджером – как сейчас перед Наташей.

Машина остановилась.

– Приехали, девушки, – сказал водитель. – Выходите.

Серый Волк и Лисичка-сестричка. Май, 1998 год.

Это было давно. Мы сидели, сидели на кухне. Или в общаге, я теперь уже не помню. И Леха Воронов сказал, что теперь он будет Швондер. Потому что надо экспроприировать понятия, и раз каждая сволочь на этой кухне – или в общаге, уже не помню, – считает, что левая идея мертва, а «все поделить» – это шариковщина и швондерщина, то он, Леха Воронов, сменит фамилию на Швондер. Тем более, что он – чистокровный русский, а евреев все не любят. Так и сказал – «все не любят». И потому он возьмет себе революционный псевдоним Швондер – как знаменитый террорист как-его-там взял себе фамилию Ильич. Смешно, в самом деле. Не разобрался, где фамилия, где отчество.

У меня когда-то была подруга из РГГУ, молодая студентка, с черными волосами, которые струились. Не знаю, как ручей или как река, просто струились. И хотя меня ничего не интересовало тогда, кроме этого струения, она рассказывала мне про имена, имена подлинные и мнимые. Она говорила, когда человек берет другое имя, он просто тянется к своей подлинной сущности. Так и говорила – подлинной сущности, хотя была уже на третьем курсе, в том, то есть, возрасте, когда ей наверняка уже объяснили все про сущность, существо и существование, все то, чего я так никогда и не узнаю.

Вот я и говорю: смешно – взять по ошибке не то имя. Ильич, например, вместо Ленин. Наверное, потому он теперь и попался, заперт в железной клетушке где-то в Европе. А я иду по Никитскому бульвару, яркое солнце, субботняя прогулка, и вижу Леху Воронова, своего друга, теперь уже бывшего. Леху Воронова, которого уже десять лет как надо звать Леха Швондер. Если он, конечно, за это время не сменил имя на Алексей Пол-Пот или что-нибудь в этом роде.

– Привет, Серега, – улыбается мой бывший друг Швондер и увлекает меня по Большой Никитской, не замолкая ни на минуту, так что ни слова нельзя вставить, ни спросить даже, как там Дашенька, я ведь не видел ее уже полгода в этих ее «Ракитниках», куда она безропотно дала себя увезти.

Друг мой Швондер, или, точнее, мой бывший друг Швондер, изрядно пьян, глаза его светятся вдохновением, он что-то упоенно лепечет про Май Шестьдесят Восьмого в Париже, рассказывает мне в сотый раз про Общество Спектакля, хотя я так и не возьму в толк, где же тут спектакль и почему с большой буквы.

Медийные образы, говорит Швондер, заслоняют реальный мир. Нас кормят суррогатами, из наших жил вымывают чувства, нас превращают в тени. Каждая телепередача, говорит Швондер, это акт оскотинения. Каждый рекламный плакат – скальпель стерилизатора. Каждый клип MTV холостит нас, каждая новость CNN режет по живому. С каждым новым визуальным образом, который мы производим, мы все меньше чувствуем наши тела.

Милый такой Швондер, тридцатилетний мальчик, седые взлохмаченные усы, на локте порванная китайская джинсовка, волосы убраны в конский хвост, как у его сестры когда-то. Во рту не хватает зубов, несет перегаром, похоже, с каждым шагом он все меньше чувствует свое тело. Я обнимаю его за плечи, жалея, что сам я трезв и никак не могу разделить восторг. Зато я вижу, как в треснутых стеклах его очков на секунду отражается мой глаз – еще один визуальный образ, который мы произвели.

Человеческая жизнь, кричит Швондер, должна быть основана на страсти, если не на страхе. Мы должны напомнить людям, зачем они живут, должны заставить их, кричит Швондер, вспомнить о своем предназначении.

Тут он машет рукой, и я вижу, что впереди на улице что-то происходит. Мой бывший друг Швондер ускоряет шаг, вырывается из моих дружеских объятий – надо, вероятно, сказать «бывших дружеских», – едва не падает, но его уже подхватывает кто-то, в такой же в джинсовой

куртке, еще целой, но уже застиранной и ветхой, махрящейся на отворотах. И вот я иду с этими людьми, теряя из виду моего бывшего друга Швондера, все ближе и ближе к баррикаде поперек улицы.

Значит так. Еще раз. Май месяц. Суббота. Светит солнце. На дворе 1998, заметьте, год. Большая Никитская. Только что миновали Консерваторию. Посреди улицы – баррикада.

Мой сослуживец Денис любит слово «галлюциноз» – он, конечно, не преминул бы сказать его и сейчас. Мой сослуживец Денис прекрасный человек, но любовь к неправильным словам его погубит. Особенно если учесть, что ему приходится работать с живыми людьми, которых почему-то называют клиентами. Человек, говорящий слово «галлюциноз» чаще одного раза в месяц, сам того не желая наводит на мысль об иллюзорности, а та ли это мысль, спрашиваю я, которую мы хотим внушить клиенту, пришедшему заплатить свои деньги за чувство уверенности в завтрашнем дне? Нет, не та, хотя, может быть, именно эта мысль и нравится людям, построившим среди бела дня баррикаду, перегородившую Большую Никитскую улицу в городе Москва, в стране Россия.

Когда-то я любил смотреть фильмы про революцию. Там часто были баррикады, и коммунары махали флагами, а цвет флагов в черно-белом телевизоре можно было только угадать. Потом в дальнем проеме мощеной булыжником улицы появлялись конные жандармы, и коммунары падали замертво, как птицы, замерзшие на лету, и перед смертью успевали сказать несколько слов, которые, наверно, казались очень важными режиссерам и сценаристам, но совершенно не запомнились мне. Повторю: это было давно. Гораздо раньше, чем мой бывший друг Швондер сменил фамилию.

На этой баррикаде никто не собирался умирать. Это просто художественный акт, да, просто художественный акт. В память о мае 1968 года в Париже, тридцать лет назад французские студенты потребовали невозможного и попытались запретить запрещать. Это было еще раньше, чем я любил смотреть фильмы про баррикады, раньше, чем мой сослуживец Денис полюбил слово «галлюциноз». Это было давно.

Лозунг крупными буквами: «Денег нет – и не надо». Чернобородый мужчина в джинсах и дорогом свитере. Похоже, с ним жена и дочка, маленькая черноволосая девочка лет трех, с красным, под цвет лозунгов, рюкзачком за плечами. Стоит около железного ограждения и увлеченно колотит по нему палкой. Тоже, наверное, требует запретить запрещать, хотя ей и так никто ничего не запрещает. У девочек, которым никогда ничего не запрещали, совсем другие лица, это видно даже в три года. Вот и сейчас она молотит палкой по ограждению, радуясь, что все кругом тоже стучат и бренчат кто во что горазд, солнце светит, родители улыбаются. Буржуазные люди, агенты общества спектакля, деньги есть и пусть будут. Люди, как я. Вот кто радуется неожиданной воскресной прогулке больше всех, не исключая моего бывшего друга Швондера, который мелькает уже где-то наверху баррикады, вероятно, воображая себя коммунаром в старом черно-белом фильме. Впрочем, милиция не вмешивается. Никого не разгоняют. Конные жандармы не появляются в проеме мощеной булыжником улицы. Никому нет дела – и не надо. Телевидения тоже не видно.

Каждый революционный акт, не показанный по телевизору, говорит мой бывший друг Швондер, это холостой выстрел из револьвера с глушителем. Вот недавно купил себе револьвер с глушителем, хвастается он, заряжен боевыми патронами, никаких холостых.

Каждое пустое слово холостит нас, да.

Я сворачиваю в переулок, достаю «Кент», закуриваю. Ветер уносит голубоватый дымок, и я уже сам не знаю, зачем пошел сегодня гулять. Обогнув баррикаду, выхожу на Манежную площадь, где катаются скейтеры. Крепкие мальчики, кожаные наколенники, короткая стрижка, лица сосредоточенные, глаза растерянные.

У меня был одноклассник, семь лет назад он признался мне, что он – гей. Мы сидели, сидели на кухне. Он был пьяный, но не очень. Мальчики, говорил он, мальчики-подростки –

слава богу, не обязательно школьники – вот они сводят меня с ума. У них в лицах, говорил он мне, есть какая-то недооформленность, словно их еще надо нарисовать. Каждый раз, когда я вижу таких мальчиков, как эти, на скейтах, я вспоминаю моего одноклассника. Жалею, что его здесь нет.

Своего одноклассника я видел последний раз три года назад. В одном из первых бутиков он выбирал новую рубашку от Жан-Поля Готье. Улыбнулся мне смущенно, будто раздумывал, узнавать ли, но потом сказал, мол, жалко, редко видимся, днем на работе, вечером – в «Шансе», поверь, ни минутки времени. Зрачки у него были широкие, радужки почти не видно, красота мира вливалась туда широким потоком. Каждый раз, когда я вижу таких мальчиков, я стараюсь смотреть на них его глазами.

Вот я стою у самого края Манежной площади, поток машин течет слева, справа катится со ступенек поток мальчишек на досках. Громкий гудок за моей спиной – и, нарушая все правила, рядом останавливается «ауди». Мой бывший друг Швондер считает, что в таких ездят предатели. Мой бывший друг Швондер считает, что расстреляет их, когда придет к власти. Я уверен, что мы все умрем раньше, поэтому совсем не пугаюсь, когда он так говорит.

Стекло опускается, уползает в дверцу, тихо-тихо, словно коготь в кошачью подушечку.

– Сережа, – слышу я голос. – Сережа, что вы тут делаете?

Я тут стою, Лиза, у самого края Манежной площади, поток мальчишек на досках за спиной, поток машин за бортом твоей «ауди». Я просто гуляю, Лиза, но да, абсолютно свободен, если хочешь, могу сесть к тебе, и мы поедем обедать.

Моей сослуживице Лизе, наверное, уже сорок лет. У нее решительная походка, узкие губы, коротко стриженные рыжие волосы. Когда она проходит по офису, кажется, что порыв сухого ветра несет осенние листья. Никто не замечает, но я знаю, что это так. Мою сослуживицу Лизу считают в «Нашем доме» жестким человеком.

Место, где я работаю, называется «Наш дом». Это страховая компания. Мы помогаем людям не бояться будущего. А кроме того – помогаем уводить деньги от налогов, но об этом не принято говорить вслух. Этим занимается моя сослуживица Лиза, финансовый директор «Нашего дома».

Почти никто в офисе не называет ее Лизой. Ее зовут Елизаветой Марковной, но мне кажется, что женщину, похожую на уносящийся неведомо куда мертвый осенний лист, можно звать по имени. Имя очень важно для человека – так объяснила мне когда-то моя подруга, студентка РГГУ.

Пока официанты в «Ностальжи» приносят еду, я смотрю на мою сослуживицу Лизу и пытаюсь представить себе, какой она была двадцать пять лет назад, когда ей было пятнадцать или даже меньше. Стригла ли она волосы уже тогда? Заплетала косички? Или носила конский хвост, как сестра моего бывшего друга Швондера? Звали ли ее одноклассницы «лисичка-сестричка»? Звали лисенком мама и папа? Что должно было случиться с маленькой девочкой, чтобы она стала похожа даже не на старую лису, а на уставшую женщину сорока лет, в джинсах от «Armani», рубашке от «Donna Karan», туфлях от «Fabi» и с карточкой «СБС-Агро», которую она решительным жестом положит в кожаную папку с тисненой короной, не дав мне даже достать бумажник.

– Я вас пригласила сегодня, – скажет она мне, – я угощаю.

Я скажу «спасибо». Я уважаю выбор других людей.

«Ностальжи» – лучший ресторан, в каком я был. Будь я Дарьей Цивиной, я бы поставил ему пять звезд – или в чем она там оценивает рестораны? Но я – только менеджер страховой компании «Наш дом» и если бы я захотел обедать здесь по выходным, мне, вероятно, пришлось бы сделать хорошую карьеру. Которую я никогда не сделаю. Поэтому у меня нет денег на «Шато Марго», которое пробует сейчас моя сослуживица Лиза. Снисходительно кивает головой, хорошо. Официант наливает темно-красную жидкость в бокалы.

Хорошее вино. У меня никогда не будет денег, чтобы научиться разбираться в винах. Денег нет – и не надо, так, кажется?

Золото на стенах «Ностальжи», Лизины волосы. Будь сейчас осень, ветер гнал бы за окном желтые листья.

– ... это было бы вполне взаимовыгодно, – говорит моя сослуживица Лиза, и я киваю, да, в самом деле. Если бы мне удалось найти таких людей среди моих старых знакомых, среди людей, которые мне доверяют. Это было бы взаимовыгодно, да.

Что будет, если я предложу поучаствовать в этой схеме моему бывшему другу Швондеру, который все равно доверяет мне, хоть и называется бывшим другом? Со своей стороны он мог бы внести треснувшие очки, пустую бутылку из-под пятой «Балтики», томик Ги Дебора на английском, пистолет, который не стреляет холостыми. Мы бы со своей стороны внесли наш опыт, умение оформлять сделки, безукоризненную репутацию, отлаженную схему перестрелки, мастерство превращения цифры на бумаге в прямоугольные брикеты банкнот, количество которых возрастает прямо пропорционально этой цифре.

Я когда-то учился математике, я тоже знаю разные слова. Как мой сослуживец Денис.

Моя сослуживица Лиза, сорока лет, с волосами как осенние листья, смотрит на официанта и не видит его. Это специальный навык, я знаю, ему обучаются со временем. Когда начнешь ходить в дорогие рестораны все чаще и чаще. Прямо пропорционально, я же говорю.

Мы выходим на Чистопрудный бульвар, все еще светит солнце, все еще месяц май, суббота, 1998 год, Москва.

– Садитесь, – говорит моя сослуживица Лиза, и я опускаюсь на кожаное сиденье «ауди», вдыхаю запах нагретого салона, ароматизатора в форме деревца и духов «Sonia Rykiel».

У меня никогда не будет денег, чтобы научиться разбираться в винах. Даже название я уже помню с трудом, но сейчас я куда лучше понял бы моего бывшего друга Швондера, потому что куда-то пропадает мое тело, а дух, похоже, скользит вместе с «ауди» по московским улицам.

В своей спальне она раздевается так же сосредоточенно, как подписывает бумаги. Показывает на стул, и я аккуратно вешаю рубашку на спинку, потом сажусь, снимаю туфли от «Рокко Пистолези» и думаю – это ничего, что у меня носки с вещевого рынка? Простите, Лиза, я просто не успел зайти в «Галлери Лафайет» на той неделе, в следующий раз исправлюсь, вы увидите.

Целуя ее первый раз, я наконец решаюсь заглянуть ей в глаза. Я успеваю заметить печаль, горечь, нетерпение. И еще – жажду любви, столь ненасытную, что вся красота мира, влияющая в накокаиненные зрачки моего бывшего одноклассника, не смогла бы ее утолить. Веки опускаются. В уголках глаз у моей сослуживицы Лизы сухая кожа, мелкие морщинки, да и пудра не может скрыть веснушек, когда находишься так близко. Я провожу рукой по волосам цвета опавших листьев, чувствую, как совсем рядом, под прозрачной кожей и ломкими ребрами бьется сердце.

Что я могу вам сказать, Лиза, вы же все знаете. Мы только мужчина и женщина, сотрудники страховой фирмы «Наш дом», мы помогаем людям не бояться будущего, и мы будем вместе, пока ночь не разлучит нас, а потом я пойду домой, потому что заранее знаю: вы не любите, когда мужчина остается, и всегда засыпаете одна.

7

Интересно, бывает ли еще в советских магазинах жидкость, которую покупала мама, думала Маша, лежа в гостиничной ванне. Наливаешь на дно, включаешь воду и через пять минут все в хлопьях белой, как снег, пены. В Израиле и снег, и пена редкость – если, конечно, не устраивать себе ванну из огнетушителя, как предложил однажды Марик в ответ на ее жалобные воспоминания. Они только начали жить вместе, он был мил, предупредителен и остроумен. Кто мог подумать, что через пару лет он окажется злобным занудой!

О ванне Маша мечтала еще в Израиле, и в этих мечтах она обязательно заворачивалась в полотенце, огромное с синими полосочками, вероятно, такое же, в какое закутывала ее мама. Вот странно, вспомнить то, харьковское, полотенце она не могла, но каждый раз представляла, как принимает ванну, и воображала одно и то же полотенце, с торчащими во все стороны ворсинками, где четыре – или пять? – широких синих полос пересекают желтоватое от частых стирок махровое поле.

Банное полотенце, висевшее в ванной, оказалось белым, безо всяких полосочек и, главное, было совсем маленьким. То есть вытираться можно без труда, но завернуться – никак. Вероятно, в самом деле она выросла, и полотенце, в котором можно было утонуть, как в нарисованном море, осталось где-то в советском Харькове, в прошедшем детстве, в несуществующей стране.

Решив не расстраиваться, Маша завернулась в простыню, содрав ее со второй кровати. Одноместных номеров в гостинице не оказалось, Машу поселили в двухместный. По старой памяти она не доверяла совковому сервису, но Наташа так искренне ужаснулась, когда Маша спросила: «А ко мне никого не поделят?», что Маша успокоилась. Вот, во всем есть плюсы, вот и вторая кровать пригодилась.

В этой самой простыне – кстати, с тоненькой синей полоской по краю – Маша и сидела в кресле, щелкая пультом и радуясь количеству русскоязычных передач. В Харькове на телевидении было всего четыре канала, включая один на украинском. В Израиле каналов больше сорока, если учесть турецкий и множество арабских, но на русском – всего четыре. Москва оказалась городом изобилия: полная ванна, пятнадцать телеканалов, просто красота. Гостиничный номер вполне нормальный, во всяком случае – на удивление чистый. Вот как все хорошо складывается, подумала Маша и тут же устыдилась: как это хорошо? А Сережа? Вот ведь, его и похоронить, наверное, не успели, а она радуется жизни. Может, права мама, когда говорит свое ты совсем черствая и бездушная?

Да нет. Ей жалко Сережу, в самом деле жалко. Был и больше нет – но, как назло, она ничего не могла о нем вспомнить, будто все воспоминания засосало какой-то воронкой или, может, скрыло снежным покровом слепого пятна. Чувство это как-то было связано с Сережей, и она не понимала как.

Зазвонил телефон, Маша с удивлением сняла трубку. Звонил Иван.

– Как ты узнал номер?

– Наташка сказала отель и комнату. Я хотел тебя пригласить поужинать, если у тебя нет других планов.

– Да нет, – ответила Маша, – я совершенно свободна.

– Тогда мы через час заедем с Денисом. Помнишь, Абросимов говорил?

– Да-да, – сказала она. Было очень приятно, что кто-то заботится о ней, – Маше и в голову не пришло задуматься, где она будет ужинать. А ведь не ела с раннего утра – если можно считать едой ту кошерную гадость, что давали в «Эль-Але».

И тут она вспомнила, откуда чувство слепого пятна. Оно возникло, еще когда они с Сережей и Иваном сидели в пражских «Двух кочках» (то есть «Двух кошках», а вовсе не двух уха-

бах), и Сережа рассказывал, как они ели мидий в Коктебеле восемь лет назад. И тогда она тоже не могла ничего вспомнить, и только поддакивала, потому что за воспоминаниями о других крымских поездках не могла разыскать те, что описывал Сережа. И вот сейчас, в гостиничном кресле, обмотанная все еще влажной простыней, Маша вдруг увидела, как они сидят у костра в Лисьей и как она, вставая, задевает канистру с молодым вином из соседнего совхоза, угли гаснут с пьяным шипением, все кидаются спасать то, что осталось на дне, а Сережа смеется и говорит, что теперь и костер у них тоже поддатый. Воспоминание проступило, как переводная картинка под пальцами, когда в детстве Маша сдергивала бумагу, и тусклые краски неожиданно вспыхивали. Маша почувствовала запахи горелого дерева, нагретых за день камней, сухой травы и соленого моря, вспомнила как саднила щиколотка, расцарапанная колючками, как щипал глаза винный дым. Она заплакала, потом вытерла простыней слезы, умылась и пошла одеваться.

На работе весь день шушукались, обсуждали – кто мог убить? Гена и Лиза помалкивали, словно бесконечной минутой молчания отдавая дань памяти одному из старейших сотрудников. Остальные строили догадки, одна другой несуразней. Может, ограбление? Что-нибудь исчезло в квартире, ты не знаешь? А может, убийство на почве ревности? Или еще вот был случай на моей старой работе, убили мужика из соседнего отдела, лет сорока пяти, обычного такого, а оказалось – любовник. Гомосексуальное убийство, представляете? Ни за что бы не подумал. Хотя это, конечно, не про Сережу, он-то у нас точно был как хлопок, стопроцентный натурал, Волк, иначе не скажешь. Может, по ошибке? А враги у него были? Может, угрожали чем-нибудь? Никто не слышал?

Денис с Иваном сидели в вестибюле отеля и ждали Машу. Весь день Иван провел в Сережиной квартире, и Денис сдержанно пересказывал ему офисные разговоры, не упоминая, разумеется, совсем уж бессмысленных. Были ли у него враги? Угрожали ли ему?

– Нет, – сказал Иван, – не тот случай. Он бы сказал, если что. Не такой Сережа был человек, чтобы молчать.

– Тебе, конечно, видней, – ответил Денис, – но мы знаем, что просто так никого не убивают... в наше-то время.

– Что ты знаешь о нашем времени? – сказал Иван, – ты бизнесом не занимался, сам же говорил.

– Ну, – протянул Денис, – у меня были друзья, которые занимались... друзья друзей, которых убили... я все-таки жил в этой стране последние десять лет.

– Ты газеты читал и фильм «Брат» смотрел, – ответил Иван, – а не в стране жил.

Они сидели в холле и ждали Машу. Поехали прямо с работы и потому были одеты как днем: Иван в новом «Ermenigildo Zegna», а Денис – в светло-сером приталенном костюме, хотя уже без галстука.

– То есть, по-твоему, его просто так убили? Случайные грабители, которые ничего не взяли? Пьяные гости, друзья-наркоманы, ревнивые подруги?

– Без идей, – сказал Иван и помолчав, прибавил: – Что тут говорить? Мне сейчас неважно, кто это сделал, не о том речь.

– Извини, – сказал Денис, – я как-то увлекся. В самом деле невозможно поверить, что мы его больше не увидим. Я вспомнил сегодня, как мы на прошлой неделе сидели в «Кофе Бине»...

– Потом, – перебил Иван и, улыбаясь, поднялся навстречу Маше. – Не надо при ней.

Опять за окном Москва, понемногу привыкаешь к огромным рекламным щитам с надписями на русском, к черным отполированным машинам, неожиданно выскакивающим откуда-то сбоку, перед самым носом «тойоты», к бензиновой вониз опущенного окна – к запахам труднее всего привыкаешь.

С заднего сиденья Денис рассказывал Маше, как у него на днях разбили стекло, чтобы украсть магнитолу, и вот теперь его «ниссан» на сервисе, а он упал на хвост Ивану.

– Вообще-то их понимаю, – говорил он, затягиваясь, – я стараюсь быть объективным. Я для них – человек у которого слишком много денег, иными словами – вор. Ну почему у меня не украсть? Типа, если деньги на машину есть, то и на новую магнитолу хватит. Денег, конечно, не жалко – то есть, что я говорю? – конечно, жалко, но, главное, я теперь на несколько дней безлошадный. Но я не обижаюсь, надо же делиться с собственным народом честно заработанными деньгами.

Вот ведь как проявляется нынче русский интеллигентский комплекс вины, подумала Маша, а Иван спросил:

– А если бы ты их поймал?

– Что бы я сделал? – удивился Денис, – руки-ноги оторвал бы. Ментам бы сдал. Не задумывался, короче. А ты что думал: отпустил бы? Вот еще.

Каждые полгода в Москве появлялось новое модное место. Может быть, и каждые пару месяцев или несколько недель – все зависело от того, насколько модными хотели быть люди, ходившие в эти места. Сотрудники «Нашего дома» бывали в ресторанах после работы, а не вместо нее, поэтому на обживание очередного кондиционированного подвала им требовалось полгода. Потом можно идти искать новое место, уже обжитое ветреными светскими модниками, менявшими каждый месяц места обитания. Почему-то добрая половина модных мест располагалась под землей, и приходилось выбирать себе мобильный, чтоб он получше ловил сквозь вековую каменную кладку, рассчитанную на вражеский штурм, пожар или атаку грызунов, но никак не на слабую восприимчивость «Моторолы».

Кладку можно было увидеть и даже потрогать: когда запускался «Петрович», его хозяин, карикатурист Андрей Бильжо, с трудом, но уговорил строителей не закрашивать кирпич, а только покрыть лаком. Говорили, что когда-то подвал принадлежал знаменитому Шустову, коньячному фабриканту, а после революции перешел к заводу «Арарат». Теперь на выразительно обшарпанных стенах – Маша сразу оценила дизайн, – висели старые фотографии, листочки календаря за пятьдесят какой-то год, табличка «Клизменная» и карикатуры с Петровичем, давшим название ресторану. У Петровича был большой нос и глаза – на каждой картинке они оказывались на новом месте. «Петрович» был островок советской экзотики, памятник годам застоя, которые после десяти лет перемен оказались самым спокойным временем в современной российской истории. Спокойствие означало стабильность, все тосковало по ней после десятилетия бури и натиска, так что стабильность, пусть и социалистическая, вызывала к жизни традиционные буржуазные ценности – и нарождавшийся средний класс, почему-то предпочитавший называть себя «яппи», так любил «Петровича». Это было напоминание о прошлом, которое, хотелось верить, могло стать обещанием будущего – такого же безопасного и надежного, как семидесятые, но без железного занавеса, КПСС и дефицита.

– Петрович, – объяснял Денис Майбах, – это, можно сказать, единственный грамотный брэндинг в новой России. Обрати внимание, он строится на основе старых брэндов: вот Че Гевара на стене, вот фарфоровый Пушкин, вот старый «Огонек» лежит, не путать с перестроенным...

Денис вел ее по залу, огибая столики:

– А вот это портрет бабушки одного моего приятеля. В смысле – в молодости. Сюда можно приносить любые предметы, типа как в музей. Приятель ходит теперь, любитесь.

– Как я понимаю, – сказала Маша, – вы водите сюда иностранцев показывать советскую экзотику.

– Я пробовал иностранцев водить, – сказал Денис, – но без толку. Ничего не понимают.

– Помнишь, что Джерри сказал? – подхватил Абросимов. – «Это как Hard Rock Café, только по-советски. Я понимаю, это для вас что-то важное, но не понимаю – что».

Абросимов и Денис были странной парой – каждую реплику они раскладывали на две: один начинал, другой подхватывал. Они уже рассказали Маше, что когда-то учились на одном факультете университета, с разницей в пять лет. В те времена они никак не могли ни встретиться, ни предположить, что займутся страхованием.

Иван галантно отодвинул Маше стул, она улыбнулась и села. Денис протянул ей меню:

– Вот, посмотри названия. Типа прикольные.

– Да на самом деле прикольные, – сказал Абросимов.

– Ну, пусть будет на самом деле, – легко согласился Денис. – Вот смотри. Язык называется «Детям до 16 лет запрещается».

Подошла официантка с бэджиком, на котором было написано «Людмила Петровна», причем «Людмила» как бы от руки, а «Петровна» – типографским шрифтом. Иван заказал себе «Наф-Наф жил, Наф-Наф жив, Наф-Наф будет жить», Абросимов взял тот самый «Детям до 16 —ти», Денис стал уговаривать Машу попробовать «Карпа Петровича в футляре», она согласилась и еще заказала «Сюрприз Петровича» – просто выяснить, что это такое.

Когда Людмила Петровна ушла, Иван сказал:

– На самом деле сюда не за едой ходят. Кухня хорошая в «Ностальжи».

– Зато здесь демократичней, – сказал Абросимов. – А то я не люблю, когда рядом со мной два официанта весь обед стоят.

– И вообще, – заметил Майбах, – «Петрович» – это клуб, а «Ностальжи» – все-таки ресторан. В клуб ходят не есть, а общаться. У нас с Абросимовым есть мечта...

– ... клуб «Русские сказки». Или даже – «Советские сказки», не в названии суть.

– А главное, – вновь перехватил инициативу Денис, – чтобы там было все про Чебурашку, Крокодила Гену, Дядю Федора...

– ... короче, как у нас в офисе, – закончил Абросимов.

Они сидели с двух сторон от Маши, словно два пажа, телохранителя или официанта из дорогого ресторана, о котором только что говорили. Подвигали ей сухариков, уговаривали выпить пива, она ведь не за рулем, а это русское пиво, научились варить, конкурируют на местном рынке с чехами и немцами, но можно и «Гиннес», он тут тоже есть, это как Маша хочет, они сейчас подойдут к стойке и закажут, чтобы не ждать официантку. Маша была тронута, хотя чувствовала себя немножко странно, будто снова стала маленькой заболевшей девочкой, вокруг которой суетятся взрослые, подносят питье, предлагают полежать немного, рассказывают сказки и целуют в лоб, чтобы узнать температуру, которой она не чувствует.

– А я вот хотела спросить, – сказала она, – почему вы вашего начальника зовете крокодилом? Он совсем не похож.

– Не крокодилом, а Крокодилом Геной, – поправил Абросимов.

– И внешнее сходство не главное, – сказал Денис, – мы стремимся ухватить внутреннюю суть. Дать подлинное имя, понимаешь?

Маша кивнула. Марик говорил ей про подлинное имя не реже, чем про тетраграмматон, четырехбуквенное имя бога, о котором, по его словам, полагалось знать каждой еврейской девушке.

Принесли еду. Сюрприз оказался рюмкой водки с селедкой. Маша уже начала пить пиво, поэтому водку отставила и сделала еще глоток «Балтики». Она чувствовала, как рассасывается напряжение, которое не покидало ее с самого утра. Как все-таки хорошо, что она не осталась одна в гостинице, а ребята утащили ее ужинать. Совсем ведь, если вдуматься, чужие люди, но как приятно, а?

– Семин – Крокодил Гена, потому что он строит наш Дом Дружбы, – сказал Денис.

– Лиза Парфенова – Лиса Патрикеевна, потому что она хитрая.

– Наш начальник Федор Поляков – Дядя Федор, потому что мы – пес и кот.

– Шарик и Матроскин, – пояснил Абросимов.

- Таня, Света и Аля – три поросенка...
- ... потому что всегда вместе.
- До тех пор, пока не рассорились, – добавил Денис.
- Наташка Черепахина – Чебурашка, потому что уши, – сказал Абросимов.
- Тссс! – Денис приложил палец к губам. – Это неприлично.
- Про уши? – спросила Маша, – у нее все в порядке с ушами.
- Ты просто ее невнимательно рассматривала, – сказал Денис.
- У нее большие попины уши, – зловеще зашептал Абросимов.

Они замолчали, как по команде. Рассказывали явно не первый раз – видимо, сказала практика.

- Что это такое? – спросила Маша. – Где у попы уши?
- Французы их еще называют «рукояти любви», – сказал Денис. – Ну, такой профиль бедер.
- Еврейского, кстати, типа, – добавил Абросимов.
- Вы мне просто голову морочите, – рассмеялась Маша.
- Нет, мы серьезно, – сказал Абросимов. – Вот Иван не даст соврать.

Только тут Маша заметила, что Иван с их прихода в «Петрович» не сказал почти ни слова. Она вспомнила Прагу – наверное, он всегда ведет себя так: задаст вопрос и снова замолчит. После Марика, три года тараторившего без умолку, и Горского, поминутно восклицавшего «а помнишь?», приятно было сидеть рядом с немногословным человеком.

- А Иван у вас кто? – спросила она.
- Я у них Иван-Царевич, – сказал Билибинов, – а Сережа был Серый Волк. Потому что мы были друзья.

Денис снова накрыл ладонью Машину руку, и тут Маша поняла: все они считают, что она – Сережина невеста, у нее горе, и они должны хоть немного отвлечь ее от грустных мыслей. Сказать им, что ли, правду? Но зачем? Пусть, рассказывая всякую ерунду и думая, что отвлекают ее от страшных мыслей, отвлекутся сами. Ведь работали с Сережей вместе, были друзьями, тяжело им, наверное, сейчас.

- Это ничего, что мы тебя сюда вытащили? – тихо спросил Денис, а Иван с Вадимом устались в разложенный на столе старый «Огонек», словно впервые его видели.

- Нет, нет, как раз спасибо, – ответила Маша. – Все хорошо, ребята, вы не волнуйтесь.

Вдруг на мгновение она ощутила щемящую грусть, словно Сережа и впрямь был ее женихом или хотя бы очень близким человеком. Может, пиво так действует? подумала Маша и тут услышала женский голос, немного пьяный. Высокая крашеная блондинка, сразу бросаются в глаза длинные пальцы, все в серебряных кольцах, потом – обнаженные до плеч руки, а потом уже – худое лицо с ярко крашенными губами.

- Привет, – сказала она. – Я вижу, вы уже здесь. Можно к вам?
- Конечно, – сказал Денис и поднялся, чтобы принести еще один стул.
- Это Таня Зелинская, – представил девушку Иван. – А это – Маша Манейлис, Сережина невеста.

Денис пододвинул Тане стул, она улыбнулась, спросила «можно?» – и, не дожидаясь ответа, залпом выпила отставленную Машей рюмку.

8

Таня Зелинская росла маленькой принцессой некоролевской семьи. Сто лет назад ее родители звались бы купцами – и непонятно, кто был бы лучшим купцом, папа или мама, – но в семидесятые, столь любимые посетителями «Петровича», их называли «работниками торговли», считая слово «продавец» немного оскорбительным (так газеты писали вместо «евреи» – «лица еврейской национальности»), хотя в случае Таниных предков слово «продавцы» было в самом деле неуместно: мама давно поднялась до директора универсама, а папа вполне успешно работал кладовщиком на базе. Девочкой Таня не знала, что такое дефицит: все, чего она могла бы захотеть, появлялось само по себе, раньше, чем само желание, – и потому она не знала своих желаний. У нее были фирменные джинсы, прибалтийские платья, импортные туфли, а на тринадцать лет папа подарил ей французские духи. Она ничего не знала о невидимых интегральных ходах и многомудрых комбинациях, мастерами которых были ее родители. Таня считала, что трехкомнатная квартира на Юго-Западе сама по себе наполняется финской мебелью, чешским стеклом и японской электроникой.

Катастрофа случилась, когда Тане было пятнадцать. Его звали Илья, он был голубоглаз, курчав и носил круглые очки под Джона Леннона. Познакомились в летнем лагере, там было неважно, кто как одет, где работают чьи родители. Они целовались после пятничной дискотеки, и хотя она чувствовала, как его рука шарит по застёжке ее гэдээровского лифчика, крючки остались не расстегнуты и потаенный замок не отперт – ни в ту пятницу, ни в другую. В Москве Таня сама после школы позвала Илью к себе, пока родители были на работе. Она налила французского папиного коньяку и отдалась в спальне, на кровати, с которой в последний момент спихнула невозможно яркого мехового зайца. (Пять лет назад старинная мамина подруга Лидия Ивановна, работавшая в Главном Детском Магазине еще с конца шестидесятых, унесла его прямо с витрины специально для Тани). Вечером, когда Таня провожала Илью до остановки, он сказал, что у нее очень буржуазная квартира. Она обиделась, и Илья начал объяснять, что такие, как Танины родители, не знают любви, объединяющей всех людей, потому что думают только о деньгах.

– Что значит «такие, как мои родители»? – спросила Таня.

– Ну, торгаши, – сказал Илья.

Никто никогда не говорил так о маме и папе. Таня замерла, хотела убежать, но неожиданно увидела себя со стороны: полноватая некрасивая девушка в венгерской куртке, дутых сапогах и фирменных джинсах рядом с высоким красавцем в заплатанной цветочками ветровке, с колокольчиками на клешеных штанинах и плетеной фенечкой на запястье. Она заплакала – от стыда и обиды – и дала себе слово, что ничего больше не возьмет у родителей, никогда, ничего, потому что ей этого не надо, пока в мире есть любовь, которая все, что нам нужно.

Таня, конечно, не сдержала слова, но через два месяца, когда ее с Ильей не отпустили автостопом в Ригу, убежала из дома. Ее нашли, вернули, отругали и простили, но в тот момент, когда отец удержал занесенную для первой в жизни затрешины материну руку, Таня внезапно увидела мать такой, какой видел ее Илья: торгашкой за прилавком, вас много, я одна, вы мешаете мне работать, два килограмма в одни руки. После стольких лет предугаданных желаний у Тани наконец-то появились собственные, никем не предписанные. Она пришивала заплатки на непрорванные колени джинсов, продирала на локтях рукава модных синтетических свитеров, доставшихся не то из магазина «Люкс», не то из «Польской моды», отдирала фирменные лейблы, не зная, что среди московских хиппи настоящими американскими джинсами можно было гордиться ничуть не меньше, чем среди фарцовщиков. Но ничего не помогало, Илья появлялся все реже и реже, потом начал встречаться с Маринкой из соседней школы, которая была худее Тани на десять, если не на пятнадцать килограмм, это было видно в любой одежде,

сколько за нее ни заплати, как ее ни переделывай, откуда ни доставай. Через полгода Таню положили в больницу с анорексией, но Илья даже не пришел, и Таня поняла, что все кончено, что на всю жизнь она никому не нужна, кроме родителей, которые тоже никогда ее не поймут. Вместо аттестата она получила справку, в Плехановский даже не пошла, хотя родители уговаривали, ну и дура, кричала мать, без образования сейчас – никуда, кому ты нужна будешь такая, хоть ты ей скажи, Коля! Но отец ничего не сказал, вечером долго шептались, потом решили – пусть год подождет, а потом уж точно – учиться на экономиста, на худой конец – на товароведа.

Мать стала нервная, подумывала одно время перейти в министерство, но никак не решалась покинуть такое хлебное место, ведь столько возможностей, ты подумай, особенно сейчас. Вся Москва стояла в очередях и из магазинов исчезали то сахар, то сигареты. Мать так и не поняла, когда допустила ошибку, в какой момент проскочила развилку, где свернула не туда. Молодые и ушлые организовывали кооперативы, звали, но она остерегалась, все-таки у нее дочь, не может так рисковать, к чему подставляться, мало ли что, всю жизнь работала на госслужбе и дальше буду, дефицит не переведется, рука дающая не оскудеет. Отец не слушал предостережений, ввязался в приватизацию своей базы, кричал громко вечером на кухне, ты, Света, меня не отговаривай, они еще у меня говно жрать будут, а Таня без движения лежала в комнате, отвернувшись лицом к стене, и удивлялась слову, которое сто раз до этого слышала, но дома – никогда.

Отца зарезал пьяный в подъезде, все говорили, что неспроста, что, небось, «заказали за бутылку», но Таня хотела верить, что папа за кого-нибудь заступился в драке, хотя никого там и не было, кроме двоих на лестнице, где неизвестный алкаш словно специально ждал. Таня вспоминала, как отец удержал когда-то мамину руку, и впервые за много лет рыдала не над тем, что она – никому не нужная уродина. Она глотала слезы, и плакала о том, что никогда не вернется, о детстве, которое ушло навсегда, о плюшевом зайце с опустевшей витрины, о времени, когда нищета казалась роскошью, папа и мама были молодыми, никто не смел сказать о них дурного, а сказали бы – она бы не поверила, потому что они любили ее и исполняли каждое желание.

На похоронах Таня впервые видела маму пьяной, слышала, как мама сквозь слезы говорила Лидии Ивановне, что Коля был для нее – всё, что без мужчины женщина – никуда, и слова, которые Таня много раз слышала, звучали теперь совсем по-другому, а она не знала тогда, что это лишь начало, что каждый вечер, приходя домой, она будет видеть, как мама в одной комбинации стоит у зеркального шкафа, бормочет «кому я нужна такая?» и большими глотками пьет коньяк прямо из горлышка.

А потом приходит возраст, когда пора на пенсию, пора уступать место молодым, потому что если не уступать, то вот ведь бумаги, вот подписи на них, вот договора с подставными фирмами, и кто поверит, что вы почти ничего с этого не получили, объясняла пышногрудая Ангелина, часто бывавшая у них дома тридцатилетняя мамина заместительница, объясняла, по-хозяйски присаживаясь на стол в мамином кабинете, словно уже имела на это право, словно уже сейчас это был ее кабинет и ее магазин. Провожали маму всем трудовым коллективом, благодарили за работу, подарили на прощание хрустальный сервиз, еще один к тем, что уже были дома. Ангелина поцеловала в обе щеки, прижимаясь грудью, отчетливо проговорила: «Спасибо за все, чему вы нас научили, Светлана Владимировна!»

Выяснилось, что в 1992 году уже поздно, все места заняты, и даже опыт и старые знакомства ничуть не ценнее вкладов в Сбербанке, и мама переехала на дачу, заблаговременно купленную и обставленную еще в те годы, когда папа был жив, была социалистическая законность, а не бандитский беспредел, когда человека не выкидывали на улицу с работы, где прошла вся жизнь, словно мы в Америке живем, а не в России. Сдали трехкомнатную квартиру, и выяснилось, что мебель – мебель, которую доставали, о которой пеклись, договаривались заранее, платили вперед, оставляли с вечера – что все эти стенки и шифоньеры, шкафчики и столики,

все это не нужно больше, и лучше бы отсюда увезти и сделать евроремонт, объяснял агент, молодой совсем мальчишка, в очках как у Ильи и на «саабе» как полугодовая арендная плата.

Когда дверь квартиры, где прошла вся жизнь, захлопнулась, Таня поняла, что не поедет с мамой на дачу. У них была еще бабушкина однокомнатная, где-то в Медведково, оформили на Таню сразу после совершеннолетия, собирались сменить, да руки не дошли, когда все началось. Ее тоже сдавали, но совсем за гроши, потому что район был непрестижный и даже говорили, небезопасный, совсем небезопасный, повторяла мама, плача и приговаривая: «Танечка, куда же ты туда поедешь, как ты будешь там жить одна?»

– Устроюсь на работу, – сказала Таня. – Пойду куда-нибудь продавщицей. В ларек.

У советской принцессы, так и не дошедшей до Плехановского, не было никаких навыков, востребованных в новой России, но без ларька, по счастью, обошлось. Кто-то из кратковременных любовников, почти с календарной четкостью сменявших друг друга на продавленной бабушкиной тахте, пристроил Таню операционисткой в «Наш дом» и вскоре исчез, как и все мужчины до него. Таня уже хорошо знала, как сладко плачется по тому, кто никогда не вернется, особенно перед месячными, когда можно лечь клубком, отвернуться к стене и выбирать, что сегодня горше, отчего совсем не мила жизнь – чтобы через неделю снова накрасить губы и пойти искать другого мужчину, который хотя бы на одну ночь даст понять, что Таня желанна и лучше всех.

Она работала в одной комнате с Алей Исаченко и Светой Мещеряковой, ее ровесницами. У каждой была своя история, может, даже похлеще Таниной. Два года девушки были неразлучны, и от них Таня выучилась получать удовольствие от той жизни, которая им досталась. Все они радовались, что устроились в частную фирму – в приличную фирму, не бандитскую. Зарплату аккуратно платили долларами, 150, потом 200 в месяц, можно было заходить в магазины и уже понемногу покупать какие-то вещи на смену тем, из прошлой жизни, которые и без дополнительных Таниных усилий все больше напоминали хипповские лохмотья. Оказалось, деньги заменяют мужчин, теперь она уже не металась по квартире, в панике листая записную книжку и думая, что не хочет, не хочет быть сегодня ночью одна, вместо этого шла к палаткам у метро, покупала себе новый лифчик, кружевное белье, яркий, как из прошлой жизни, турецкий свитерок, серебряное колечко с кооперативной ювелирки.

Первый раз проводив Таню до дома, Паша Безуглов из транспортного отдела даже не спросил, не напоят ли она его чаем, – поцеловал в щеку на прощание, как теперь было принято, посмотрел, как Таня дошла до подъезда, а затем помахал рукой из окна такси и уехал к себе – на другой конец города, как узнала она потом, хотя Паша и говорил тогда, что живут они рядом, и ему по пути, и раз он все равно берет машину, то уж и Таню забросит. Они поженились через полгода, и счастливая мама пьяно плакала на свадьбе, не зная, что до рождения внучки не доживет двух месяцев. Девочку назвали в мамину честь Светой, все на работе думали, что в честь Мещеряковой, которая и свидетельницей на свадьбе была, и девочке как бы крестная. Как бы – потому что сама Мещерякова была некрещеная, даже наоборот, да и Паша сказал, что крестить не будут, пусть Светочка сама, когда подрастет, тогда и решит что к чему. И Света Мещерякова кивала, слушая Пашу, и говорила, что в любом случае маленькая Светочка ей как родная, тем более, что у самой Мещеряковой не было ни детей, ни мужа, но зато пока Таня рожала, Света делала карьеру, перешла в отдел страхования от несчастных случаев, стала получать под тысячу, а Аля вообще поднялась недостижимо высоко, получала не то две, не то три, приходила домой усталая, по телефону говорила с трудом, в гости выбиралась раз в месяц, снимала квартиру в центре, поближе к работе, потому что каждые полчаса доро? ги – это полчаса, украденные у сна.

Таня вышла на работу, когда Светочке было полгода, бросила кормить, хотя молоко в груди оставалось, а знакомая врачиха говорила, чем дольше кормить, тем оно детям лучше, но Таня не могла больше сидеть дома, в просторной Пашиной двухкомнатной в Ясенево, в пят-

надцати минутах на машині від старої трешки. Після маминої смерті так і не удалось забрати собі квартиру – кооператив уперся намертво, даром що лі – бывшіє работники торгівлі, а мама, завжди столь передбачувальна, на этот раз не оформила бумажки, не получила свидетельство о приватизации. Можно было, конечно, все сделать задним числом, но Таня как раз ждала Светочку, и ей было не до того, а потом выяснилось, что поздно, и, значит, ежемесячной ренты больше не будет. Она разозлилась, взяла няню, вышла на работу – и хотя за вычетом того, что получала приходящая на десять часов в день пышнотелая хохлушка Вероника, выходило всего полторы сотни, Таня все равно гордилась, что тоже приносит деньги в семью. Но главное – она больше не сидела целыми днями дома, рассматривая в зеркале красноватую сетку растяжек на бедрах и животе, и думая о том, как обвиснет грудь, стоит исчезнуть молоку.

В отличие от Светы и Али, она так и не сделала карьеру. Паша был мелким, не особо удачливым сейлом, но все-таки от тысячи до полутора приносил, еще они сдавали Танину дачу, так что денег хватало, и Таня обычно добавляла свои сто пятьдесят рублей к тем тридцати пяти тысячам, что лежали в «СБС-Агро» после продажи старой однушки в Медведково. Таня снова стала заходить в ювелирные магазины, выбирая серебряные кольца, которых у нее было так много, что она завела себе специальную деревянную кошку с торчащим вверх хвостом, униженным этими кольцами, как длинный палец, указующий в небо. Однажды она открыла шкатулку с мамиными драгоценностями и поняла, почему никогда не покупала золота: слишком напоминало о маме, о финском сервилате, французских безмянных духах, фирменных джинсах, пошитых в Одессе. Друзья дарили кольца на день рожденья, а Паша – еще и на годовщины свадьбы. Она хорошо помнила, как покупала каждое кольцо – или как их дарили – и в тот памятный день, полгода назад, безошибочно сняла с хвоста все кольца, подаренные Светой, содрала с указательного пальца еще недавно самое любимое, подаренное как бы крестной на рождение дочери, и убрала их все туда же, где лежало мамино золото. Хотела выбросить, но в последний момент дрогнула рука: мало ли какие еще придут времена, хотя не верится, честно говоря, что такого может случиться?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.